

An impressionistic painting of a young boy sitting on a large rock by a stream. He is wearing a light-colored, long-sleeved shirt and shorts, and is barefoot. He is holding an open book and looking down at it. The background shows a lush, green landscape with trees and foliage, reflected in the water of the stream. The painting style is characterized by visible brushstrokes and a vibrant, somewhat muted color palette.

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Арчибальд
Кронин



ПЕСЕНКА
В ШЕСТЬ ПЕНСОВ
И КАРМАН
ПШЕНИЦЫ

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Арчибальд Кронин

**Песенка в шесть пенсов и
карман пшеницы (сборник)**

«Азбука-Аттикус»

1964, 1969

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Кронин А. Д.

Песенка в шесть пенсов и карман пшеницы (сборник) /
А. Д. Кронин — «Азбука-Аттикус», 1964, 1969 — (Иностранная
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-15441-4

Впервые на русском знаменитая дилогия Арчибальда Кронина! «Песенка в шесть пенсов и карман пшеницы» – две первые строчки известной английской песенки, а также названия не менее известных двух произведений Арчибальда Кронина, созданных в лучших традициях «романов воспитания» Диккенса, Бальзака и Флобера. Рассказ о судьбе юноши из Шотландии, мечтательного, амбициозного и наивного отразил многие автобиографические факты из жизни автора. О его приключениях, победах и поражениях, потерях и обретениях, влюбленностях и разочарованиях Кронин повествует с теплым юмором и с тем проникновенным, вызывающим сочувствие и сопереживание реализмом, который отличает его оригинальный творческий почерк. Читатель встретит здесь тот же яркий повествовательный дар, которым отмечены и другие романы автора, ставшие современной классикой, такие как «Замок Броуди», «Звезды смотрят вниз», «Цитадель» и многие другие.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-15441-4

© Кронин А. Д., 1964, 1969
© Азбука-Аттикус, 1964, 1969

Содержание

Песенка в шесть пенсов	6
Глава первая	7
Глава вторая	11
Глава третья	17
Глава четвертая	24
Глава пятая	30
Глава шестая	34
Глава седьмая	39
Глава восьмая	42
Глава девятая	47
Глава десятая	53
Глава одиннадцатая	58
Глава двенадцатая	63
Глава тринадцатая	71
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Арчибальд Кронин
Песенка в шесть пенсов и карман пшеницы
Сборник

A. J. Cronin
A Song of Sixpence
A Pocketfull of Rye

© A. J. Cronin, 1964

© A. J. Cronin, 1969

© И. Куберский, перевод, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство Иностранка®

* * *

Песенка в шесть пенсов

1

¹ Название этого и следующего романа («A Pocketfull of Rye» – «И карман пшеницы»), продолжающего историю главного героя Лоуренса Кэрролла, взято автором из старинной английской детской песенки, начинающейся так: «Sing a song of sixpence, / A pocket full of rye...» (Здесь и далее примеч. перев.)

Глава первая

К шести часам вечера дом наполнялся ожиданием, проясняя долгий, полный смутных грез день. Когда я вошел в гостиную, моя мама, занятая на кухне готовкой ужина, начала петь. Это было что-то о дочери мельника, которая умерла с горя. Она пела эти грустные шотландские песни так живо и с такой непосредственной радостью, что они казались веселыми. Чтобы посмотреть в окно, я встал на пуфик. Хотя на следующей неделе я должен был пойти в школу, мне все еще требовался пуфик.

Дорога к деревенской станции была пустой, если не считать собаки Макинтоша, спящей в тени сикоморы перед кузницей. За станцией, с ее клумбами турецкой гвоздики и желтой кальцеоларии, простиралась широкая полоса безлюдного берега; и, кроме того, эстуарий² Клайда оживлял в настоящий момент белотрубный колесный пароход, идущий вниз по течению от Брумло. Но вот кто-то обозначился на дороге, не тот, кого я ждал, но все же друг, и в самом деле, мой единственный друг Мэгги, или, как ее совершенно несправедливо звали «плохие» мальчишки, Безумная Мэгги, большая неуклюжая девочка тринадцати лет, увешанная бидонами с молоком от фермы Снодди, – она продиралась через прутья опущенного шлагбаума на железнодорожном переезде. Это был самый короткий путь, пользоваться которым мне строго запрещалось; я с упреком смотрел, как она тащится по дороге, начиная свой вечерний молочный обход. Минувя наш дом, один из четырех маленьких особняков, стоявших в ряд, она увидела меня у окна и под тупое бряканье бидонов махнула рукой в знак приветствия.

Только я начал махать в ответ, как услышал пронзительный свисток паровоза. Я тут же перевел взгляд и увидел шлейф пара, под которым медленно полз по рельсам на повороте темно-бордовый змей. Как бы с трудом переводя дыхание, он пыхал на платформу. В 1900 году у деревни Арденкейпл останавливались только самые медленные поезда Северо-Британской железной дороги.

Как это иногда случалось, мой отец был единственным пассажиром, который выходил здесь. Он шел энергичной поступью человека, любящего возвращаться домой, – полная жизни фигура, в которой даже на таком расстоянии безошибочно читалось своеобразное чувство стиля. На нем были коричневый костюм и темно-коричневые туфли, коричневая шляпа-котелок с загнутыми вверх полями и короткое пальто. Когда он приблизился, собака подняла голову и, не зная предрассудков деревни, приветственно взметнула пыль хвостом. Затем с нарастающим ознобом приятного предвкушения я увидел пакет у отца в руках. Довольно часто после посещения клиентов в Уинтоне он приносил домой мне и матери на ужин нечто неизменно вызывавшее наш восторг: может, несколько гроздей винограда от Кольмара, или кусок лосося от Тэя, или даже кувшин кантонского зеленого имбирного напитка, – экзотические дары, вроде как указывающие на то, что отец и сам не прочь отведать чего-нибудь эдакого, что, конечно же, выходило далеко за рамки скромных стандартов нашей повседневной жизни; приподняв бровь и небрежно распаковывая эти дары, он тайком наслаждался нашими вопрошающими взглядами.

Дверь со стуком открывалась, и мама, сорвав с себя фартук, бежала встретить и обнять его, какового действия я не одобрял, хотя оно неизменно повторялось. Отец снимал пальто и вешал его на плечики – он всегда был аккуратен со своей одеждой, – затем входил на кухню, несколько отстраненно приподнимал меня и опускал. Мама ставила суп на стол. Это был шотландский мясной бульон – блюдо, которое особенно любил отец, но из которого, если бы позволили, я бы ел только горох, выложив его для начала в круговую по краю тарелки. Затем подавалась вареная говядина. Против местного обычая – и это было лишь одним из наших мно-

² Эстуарий – широкое однорукавное (в отличие от дельты) устье реки, впадающей в море.

гочисленных нарушений строгих правил местной общины, в которой мы жили, – наша основная еда приходилась на вечер, так как у отца, проводящего весь день на ногах, редко бывала возможность перекусить чем-то большим, чем сэндвич. Между тем с настроением, который мне показался необычным, даже слегка напряженным, он медленно разворачивал свой пакет.

– Ну, Грейс, – сказал он, – все решилось.

Мама перестала наливать бульон и побледнела:

– О нет, Конор!

Он посмотрел на нее с улыбкой, ласковой, но ироничной, и коснулся кончиков своих коротких светлых усов.

– Сегодня у меня была заключительная встреча. Я подписал контракт с Хагеманном. Вечером он отправляется пароходом в Голландию.

– О Кон, дорогой, это невозможно...

– Сама посмотри. Вот первый образец. Перед твоими глазами.

Он поставил на стол круглый стеклянный контейнер, спокойно сел, принял тарелку из ее услужливых рук и взял ложку. Я подумал, что мама, как это ни невероятно, вот-вот заплачет. Она без сил опустилась на стул. Смутно представляя себе, что произошло нечто ужасное, какая-то катастрофа, грозящая нарушить мир моего дома, я не мог оторвать глаз от этой круглой стеклянной бутылки. В ней был желтоватый порошок, а снаружи – этикетка с отпечатанным на ней красно-сине-белым флагом. Мама взяла себя в руки и подала мне суп.

– Но, Конор, – умоляюще сказала она, – у тебя же все так хорошо с Мерчисонами.

– Ты хочешь сказать, что я хорошо послужил *им*.

– Конечно. Опять же, они такие порядочные люди.

– Я ничего не имею против Мерчисонов, моя дорогая Грейси, но я устал снашивать каблуки на продаже их муки. Я отдал им добрых пять лет своей жизни. Притом что они были честными со мной. На самом деле это старый Мерчисон посоветовал мне взять агентство.

– Но, Конор, у нас ведь теперь все так хорошо... и так безопасно.

Отец снова поднял бровь, но не по поводу винограда от Кольмара. Эта таинственная бутылка наверняка должна была быть бомбой.

– Мы так никуда и не двинемся, оставаясь в удобстве и безопасности. А теперь будь паинькой, поешь, о деталях я расскажу позже.

Он наклонился к ней и похлопал ее по руке.

– Я слишком расстроена.

Мама встала и подала на стол вареную говядину.

Не заметив, что я так и не притронулся к бульону, она без всяких упреков убрала мою тарелку. Отец, с неизменно самоуверенным видом, спокойно и элегантно резал говядину. Худощавый, рыжеволосый, кареглазый, с теплым цветом лица и белозубой улыбкой под подкрученными усами, он был красивым мужчиной. Я смотрел на него с восторгом и часто был более чем впечатлен его дерзкими выходками, которые он совершал и глазом не моргнув. Но с моей стороны это не было любовью в полном смысле слова. Мое сердце принадлежало исключительно матери. Мягкий, робкий, вечно везде последний из-за своих болезней, начиная со свинки и кончая дифтерией, – до сих пор помню вкус карболового глицерина, которым доктор Дути смазывал мне горло, – связанный благодаря особым обстоятельствам нашей жизни тесными эмоциональными узами с матерью и нашим домом, я абсолютно заслуживал этот прискорбный эпитет: маменькин сынок. Однако и кто бы не стал им с такой матерью – тогда ей было не более двадцати четырех лет: невысокая и ладная, правильные черты лица, мягкие каштановые волосы, генцианово-голубые глаза и та естественная грация во всех движениях,

которая, по моему детскому разумению, как бы и объясняла ее имя³. Но прежде и больше всего меня держал в плену ее взгляд, в котором были доброта и благодать.

Теперь, подперев рукой подбородок, она слушала отца, который в единственном числе творил свой праведный суд над говядиной.

– Ты должна признать, – убежденно говорил он, – что я не мог упустить этот шанс... горчица, спасибо тебе, дорогая... Мы находимся накануне революции в хлебопекарной индустрии. Старомодному методу закваски приходит ко-нец, конец. – Когда отец хотел быть внушительным, он часто для начала произносил слово по слогам.

– Но, Конор, у нас ведь отличный хлеб!

Отец, с удовольствием жуя, покачал головой:

– Ты не знаешь, как часто я видел скисшую закваску. Которая пузырится из бочек. И целая партия хлеба полностью испорчена. Уничтожена. Просто одна пена дистиллятора. Новый процесс сделает хлеб дешевле и лучше. Все пойдет как надо. Подумай о такой перспективе, Грейс, с моими-то налаженными связями. Да ведь я знаю каждого пекаря на Западе. Я буду первым в этой области. И притом работая на себя.

Мама продолжала свое:

– Ты вполне уверен в мистере Хагеманне?

Отец кивнул, с полным ртом:

– Такой не подведет. Я могу импортировать у него из Роттердама на самых выгодных условиях. Кроме того, он дал мне авансом половину всей суммы для старта. Разве дал бы, если бы не полагался на меня?

В глазах мамы возник слабый свет доверия, и на лице ее – выражение робкой надежды. По окончании ужина она не встала, чтобы убрать со стола. Отец не последовал обычной привычке уделить мне полчаса – это гибкое время часто становилось растяжимым из-за моей назойливости, – прежде чем я отправлялся в постель. Не считая короткой прогулки перед сном, отец по вечерам не покидал дом. После долгого дня, проведенного в обществе людей, являвшихся его друзьями, отец, похоже, предпочитал побыть, как он говорил, у собственного очага. Кроме того, у него не было никаких причин выходить. Хотя у него были знакомые среди местных, он никогда не искал встреч в деревне, тем более каких-то дружб. Арденкейпл был для него, да и для всех нас, враждебным лагерем.

Наше вечернее общение было отчасти образовательным – именно он научил меня буквам алфавита, и он же потом поручал мне вычитывать, к нашей обоюдной выгоде, информацию из его любимого альманаха «Энциклопедия Пирса»⁴, и, однако, в основном, по причине моих болезней, он старался просто развлекать меня. Обладая поразительно богатым воображением, он придумывал и рассказывал целые серии увлекательных приключений, в которых юный герой точно моего возраста, маленький и довольно хрупкий, но чуть ли не до невероятия смелый, демонстрировал чудеса храбрости, совершая подвиги в тропических джунглях или на пустынных островах среди первобытных племен и дикарей-людоедов, причем время от времени отец вставлял замечания, адресованные моей маме, которые обычно были связаны с естественным видом и облачением темнокожих женщин племени и которые, притом что я меньше всего понимал их значение, заставляли ее смеяться.

Однако сегодня вечером, поскольку родители продолжали свой разговор, я понял, что мне не светит перспектива быть принесенным в жертву на людоедском празднестве, и, встретив взгляд отца, когда он сделал паузу, я тоном обиженного и всеми забытого внезапно спросил:

– А что там в бутылке?

³ Грейс (англ. Grace) – буквально: «грация, привлекательность».

⁴ «Энциклопедия Пирса» – справочник на самые разные темы, выпускаемый в Великобритании с 1897 г. до настоящего времени.

Он улыбнулся с необычной доброжелательностью:

– Это дрожжи, Лоуренс. Точнее, королевские голландские дрожжи Хагеманна.

– Дрожжи? – в недоумении повторил я.

– Именно так. – Он с достоинством кивнул. – Живое вещество, состоящее из бесчисленных живых клеток. Да, сама сущность жизни, можно сказать, организм, который растет, набухает, превращает крахмал в сахар, сахар в спирт и углекислый газ и таким образом заквашивает состав нашей жизни. Изготовлены, – вдохновенно продолжал отец, – в минеральном сахарно-солевом растворе – вот что такое мои королевские голландские дрожжи; современная технология, намного превосходящая метод зернового сусла, дает уникальную возможность для внедрения совершенно нового процесса, который в корне преобразует хлебопекарную индустрию Шотландии.

Отец говорил таким тоном, будто это он сам изобрел дрожжи, и я еще долго считал, что так оно и есть. Его явно подготовленное выступление оставило меня безмолвным. Мама, казалось, тоже нашла подобный пафос чрезмерным или, по крайней мере, достаточным для меня в настоящий момент. Она встала и, хотя часы на каминной полке уверяли меня, что еще далеко не мое время, непререкаемо объявила, что мне пора спать.

Обычно это был длительный процесс, затягивавшийся благодаря тому, что я находил сотню причин, чтобы удержать маму, и усложнявшийся всеми видами предрассудков и уловок, придуманных мною для самозащиты, которые, хотя и недостойны перечисления, можно себе представить по первому действию, когда следовало убедиться, что под моей кроватью не прячется боа-констриктор (удав обыкновенный). Однако сегодняшнее явление дрожжей отвлекло меня от моих церемоний и крайне обидным образом сократило все мои ухищрения.

Даже когда я уже был в постели и мама пожелала мне спокойной ночи, оставив, как положено, приоткрытой мою дверь, эта странная субстанция, таинственно вторгшаяся в наш дом, продолжала брожение в моем сознании. Я не мог заснуть. Лежа с закрытыми глазами, я видел дрожжи, работающие в колбе, – они пузырились и пенились, пока не взрывались, превращаясь в пухнувшее желтое облако, которое нависало над нашим домом, принимая форму джинна из бутылки в одной из историй моего отца. Мне было не по себе. Было ли это предвидением какого-то странного образа будущего?

Хотя они и говорили тихо, возобновившаяся беседа родителей доходила обрывками из-за незакрытой двери в мою узкую спальню. Время от времени я слышал впечатляющие и тревожные фразы: «подальше от этой проклятой деревни»... «займись снова музыкой»... «он бы поехал в Роклифф, как Теренс»... И наконец, уже почти засыпая, я услышал, как отец заявил своим самым серьезным и решительным тоном:

– Подожди, Грейси, мы им покажем... бьюсь об заклад, что они больше не смогут так относиться к нам. Однажды они помирятся с тобой. И скоро.

Глава вторая

Сколько недель я страстно желал пойти в школу – это приключение, в сияющих красках расписанное моим отцом, откладывалось лишь из-за моей подверженности самым распространенным микробам. Но теперь, когда день настал, меня охватила паника. Пока мама наводила последний глянец, застегивая мне пуговицы на новых синих брюках из саржи и одергивая вязанный джемпер, я со слезами на глазах умолял ее не отпускать меня. Она рассмеялась и поцеловала меня.

– С Мэгги у тебя все будет в порядке. Смотри, вот твой новый ранец для учебников. Надень его, как настоящий мальчик.

Ранец, хотя и пустой, действительно поддержал меня. Я почувствовал прилив сил, однако чуть не подпрыгнул от внезапного стука в дверь.

На пороге стояла Мэгги, со своим обычным выражением, смиренным и приниженным, – спутанные локоны падали ей на глаза, взгляд которых был таким же туповатым, но трогательным, как у скота-молодняка горной Шотландии. Она была дочерью деревенской прачки, известной растрепы, от которой давно убежал ее муж и которая, оплакивая участь своего брошенного чада, сделала из Мэгги рабочую лошадку. Мэгги, одетая в старую, подрезанную снизу твидовую юбку, которую дала ей моя мама, с заштопанным на одном колене чулком, едва ли казалась со стороны хотя бы мало-мальски грациозной. Далеко не глупая, но, что называется, себе на уме и с тяжелым угрюмым характером, свидетельствовавшим о чрезмерном труде и дурном домашнем обращении, она подвергалась безжалостной травле со стороны деревенских мальчишек, кричавших «дура Мэгги» и все же опасавшихся ее, потому что у нее была крепкая рука, метко бросавшая собранную на берегу круглую гальку, которую Мэгги носила в кармане. Но для меня она была и наперсницей, и наставницей. Я действительно доверял ей, как и моя мама, которая любила Мэгги и всячески поддерживала ее. Несмотря на ее многочисленные обязанности – после школы редко кто видел ее без узла с бельем или без доспехов из молочных бидонов, которые после обхода она должна была начисто отмыть на ферме, прежде чем приступить к последнему своему заданию: покормить кур, – она была во время долгих летних каникул кем-то вроде моей няньки, забирала меня днем на прогулку в те дни, когда я в очередной раз выздоравливал. Мы совершали наше любимое паломничество вдоль берега, минуя по пути одинокий заброшенный коттедж со ржавой решеткой для выющихся растений, именовавшийся Роузбэнком, где, как оказалось, к моему вечному позору, я и родился. Как столь важное событие могло произойти в столь печальном здании, уразуметь я не мог, но, по-видимому, это было так, поскольку, когда мы проходили мимо Роузбэнка, Мэгги принималась в страшных, но убедительных деталях описывать, несомненно со слов своей матери, мое прибытие в сей мир темной и безотрадной ночью накануне субботы, дня отдохновения, когда шел дождь и был такой высокий прилив, что мой отец, отчаянно искавший доктора Дати с его маленькой черной сумкой, едва добрался до деревни.

– И хуже того, – Мэгги обращала на меня сочувственный взгляд, – ты пришел в этот мир не тем концом.

– Не тем концом! Но как это, Мэгги?

– Не головой вперед. Ногами вперед.

– Это плохо, Мэгги? – окаменев, спрашивал я.

Она мрачно кивала в подтверждение.

После этого унижительного разоблачения Мэгги взбадривала меня, уводя вдоль устья к скалам Эрскин, где, наставляя ничего не рассказывать маме, которая была бы потрясена, услышав, что ее любимое, но испорченное чадо травит свой желудок такой «гадостью», мы собирали свежие мидии, которые она жарила на костре из плавника, и они становились сладкими,

как орехи. Новизна этой пищи уже сама по себе радовала меня, поскольку я был в каком-то смысле пресыщен; но для Мэгги, увы, недоедающей, это было желанной подкормкой, а затем, сняв свои стоптанные ботинки и длинные черные чулки, один из которых, хоть и заштопанный, был обычно с дыркой, она входила в серые воды залива и, шаря ступнями в илистом песке, нащупывала и раскрывала маленькие рифленные белые ракушки, сырое и дрожащее содержимое которых и поглощала на десерт, как устриц.

– Но они ведь живые, Мэгги, – протестовал я в смятении от боли, которую, должно быть, испытывали под ее острыми зубами эти невинные двустворчатые моллюски.

– Они ничего не чувствуют, – спокойно заверяла меня она. – Если ты быстро их раскушишь. А теперь поиграем в магазин.

Мэгги придумывала всевозможные игры и владела всеми местными ремеслами. Она могла делать свистки из ивы, плести замысловатые коврики из соломы, к чему мои пальцы были совершенно не приспособлены, и волшебным образом складывала из бумаги маленькие плотные кораблики, которые мы пускали по ручью Джелстон. Она также умела петь и хрипловатым, но мелодичным голосом исполняла для меня самые популярные песенки, такие как «Прощай, Долли Грей» и «Жимолость и пчела».

Но из всех наших игр Мэгги больше всего любила играть в «магазин» – вот что ей никогда не надоедало. Когда мы, порывав, выставляли на берегу все разнообразие наших находок – осколки раковин, семена дикого укропа, головки репейника и морские гвоздики, кучки белого песка, морские водоросли с пузырьками воздуха, мраморные камешки, – каждая из которых представляла собой отдельный товар, Мэгги становилась полным достоинства и важности продавцом, а я покупателем. При этом Мэгги, столь бедная и презренная, обретала уверенность и чувствовала себя чуть ли не богачкой. С гордостью хозяйки оглядывая сокровища своего магазина, перебирая набор прекрасных продуктов – чай, сахар, кофе, муку, масло, ветчину и, конечно же, белое в черную полоску мятное драже, – она забывала дни, когда ей приходилось утолять голод солоноватыми моллюсками, сырой репой с одного из полей Снодди или даже кожицей плодов шиповника и боярышника, что мы называли «подножным кормом».

Мы были счастливы вместе, и я чувствовал ее любовь ко мне, пока, внезапно подняв глаза во время нашей игры, не наткнулся на ее обращенный на меня удивленный взгляд человека, которого постоянно притягивает какая-то странность. Я знал, что затем должно последовать, поскольку полузадаченным-полусоболезнующим тоном она заявляла:

– Вот гляжу я на тебя, Лори, и до сих пор не могу поверить. Я имею в виду, ты так мало, ты почти совсем не отличаешься от нас. И твоя мать и отец тоже, они такие милые, что ты даже себе не представляешь.

Я опускал голову. Мэгги, в своей грубоватой добродушной манере, снова раскрывала одну из потаенных мук, которые омрачали мои ранние годы, в чем пора без дальнейших обиняков признаться. Я был, увы, католиком. Мальчик, привязанный за руку и за ногу к скрежещущей колеснице папы, несчастный служка Блудницы⁵, зажигатель свечей и ладана, потенциальный целовальщик большого пальца святого Петра. Мало того, мои родители и я были единственными последователями этой оскорбительной религии и, что еще хуже, единственными, кто когда-либо поселялся в этой неколебимо, исключительно правоверной протестантской деревне Арденкейпл. В этом тесном маленьком сообществе мы были столь же неуместны, как если бы были семьей зулусов. Мы были такими же изгоями.

Каково бы ни было отношение к моему отцу местной публики, которую он охотней дразнил, чем умирал, на себе я не испытывал ничего, кроме явного сочувствия или даже дружеского любопытства по поводу нашей странности. Тем не менее в понедельник утром, когда я

⁵ Жена-в-багрянице, или Вавилонская блудница – презрительное прозвище, данное протестантами Римско-католической церкви.

столкнулся с перспективой школы, вышеупомянутая проблема сыграла свою роль в том, что я упал духом. И когда, после финальных увещаний со стороны мамы, Мэгги крепко сжала мою руку и мы отправились по дороге в деревню, я был в смятении. Мы прошли мимо кузницы, откуда заманчиво пахло жженым копытом – это подковывали лошадь, – но я даже не остановился посмотреть. Не увидел я и окон деревенской лавки, к которым любил прижиматься носом, изучая богатые россыпи разных леденцов, мятных шариков, «слим джимов»⁶ и яблочных пирогов. Это был мучительный путь, еще более болезненный из-за того, что Мэгги вполголоса рассказывала о страшных наказаниях, которым подвергает учеников директор школы мистер Рэнкин – она дала ему прозвище Пин⁷.

– Он калека, – с сожалением продолжала она, покачивая головой. – И неудавшийся священник. Ни то ни се! Но он кошмар с хлесталкой⁸.

Хотя мы шли медленно, однако вскоре оказались возле школы.

Это было маленькое старое здание из красного кирпича, с открытым двором и убитой каменистой землей, и, если бы не Мэгги, мне, конечно, следовало удрать. На поле для игр шло нечто подобное сражению. Мальчишки носились туда-сюда, боролись, кричали, пинались и дрались; девочки крутили скакалки, подпрыгивали и повизгивали; летали сорванные с голов кепки, подбитые гвоздями ботинки скользили и царапали камни, высекая из них настоящие искры, от шума и гама можно было оглохнуть. И самый крупный из «плохих» мальчишек, вдруг заметив меня, испустил дикий и душераздирающий вопль: «Гляньте, кто тут! Крошка папа!»

Это внезапное возведение на престол Ватикана ничуть меня не вдохновило – все замерло у меня внутри от дурных предчувствий. Еще секунда, и я буду окружен толпой рвущихся получить от меня нечто большее, чем апостольское благословение. Но от этой и других напастей меня защищала Мэгги, расталкивая толпу воинственно выставленными острыми локтями, пока внезапно не раздался звон, пресекший этот гвалт, и на крыльце не появился школьный учитель с колоколом в руке.

Несомненно, это был Пин, его правая нога была деформирована и прискорбно короче другой – ее поддерживал двенадцатидюймовый стержень, прикрепленный к странному маленькому ботинку железным стременем, покрытым снизу резиной. К моему удивлению, учитель не вызвал у меня никакого страха. Несмотря на свои внезапные взрывы гнева и холерическую стукотню костяшками пальцев по столу, он, по сути, был мягким, заурядным, сломленным человечком лет пятидесяти, в очках со стальной оправой и с остроконечной бородкой, всегда в одном и том же куцем черном лоснящемся пиджаке (целлулоидный воротничок и черный галстук, завязанный на вечный узел), в молодости учился на священника, но из-за своего уродства и склонности к заиканию не раз терпел поражение в пробных проповедях и в конце концов стал печальным примером этой в высшей степени шотландской неудачи, где ничто не могло быть хуже провала на ниве священства.

Однако до него меня не довели. Оторвавшись от основного турбулентного потока, Мэгги наконец передоверила меня помощнице учительницы начального класса, где мне, как и примерно двадцати другим, гораздо моложе меня, дали грифельную доску и посадили на одну из передних скамеек. Мне уже легчало, так как я узнал нашу учительницу – приятную девушку с теплыми карими глазами и обнадеживающей улыбкой – одну из двух дочерей мистера Арчибалда Гранта, который держал лавку. Ее младшая сестра Полли никогда не отказывала мне в карамельке, когда по поручению мамы я ходил в лавку.

– А теперь, дети, я рада видеть вас после каникул и приветствовать новых учеников, – начала мисс Грант, и я затрепетал, воображая, что ее улыбка обращена ко мне. – Поскольку

⁶ Жевательные конфеты.

⁷ Пин (англ. Pin) – заноза.

⁸ Кожаная лента с ручкой, применяемая для ударов по кистям рук в государственных школах Шотландии.

леди Мейкл нанесет сегодня утром свой обычный дневной визит в школу, я ожидаю, что вы все будете вести себя как подобает. Теперь я буду называть имя каждого, а вы отвечайте – мне нужно заполнить классный журнал.

Когда она произнесла «Лоуренс Кэрролл», я, подражая остальным, ответил: «Здесь, мисс», что, однако, прозвучало настолько неуверенно, будто я сомневался в своей собственной подлинности.

Тем не менее ответ был принят, и после того, как все мы назвали и мисс Грант занесла нас в большую книгу, лежащую у нее на столе, она раздала нам задания. Класс был разделен на несколько групп по уровню подготовки. Вскоре одна группа бубнила таблицу умножения, еще одна списывала с классной доски на свои грифельные доски задания по арифметике, а третья боролась с прописными буквами алфавита. Все это показалось мне таким детским лепетом, что мои прежние опасения начали таять, сменяясь покалывающим осознанием собственной значимости. Какие же они младенцы, если не могут отличить Б от Д! И кто среди этих старших мальчиков погружался, как я, в тайны «Энциклопедии Пирса» с изображением странника на фронтисписе, заявлявшего, что в течение пяти лет он не пользовался никаким другим мылом? Окруженный такими свидетельствами малолетнего невежества, я почувствовал превосходящую силу своих познаний, оригинальность моего нового наряда; мне хотелось, чтобы тут засверкали мои таланты.

Грифельным карандашам недолго пришлось скрипеть, так как дверь распахнулась и последовала команда:

– Встать, дети!

Когда мы с грохотом поднялись, появился Пин и почтительно ввел в класс чопорную, напыщенную, расфуфыренную маленькую даму с таким выдающимся и агрессивным бюстом, что вкуче с пучком перьев на ее шляпе это придавало ей явное сходство с голубем-дутьшем. Я смотрел на нее со страхом и почтением. Леди Мейкл была вдовой производителя корсетов в Уинтоне, который под безупречным, но интригующим лозунгом «Дамы, мы используем только самый прекрасный натуральный китовый ус» (такие лозунги были расклеены на щитах каждой железнодорожной станции – эта реклама была для меня не менее интересна, чем «Они нам нужны, как любовь и доверье, – Пиквик, Сова и Уэверли перья»⁹) сколотил немалое состояние, а затем, спустя годы, как мэр Ливенфорда, был пожалован в рыцари, каковое звание подвигло его купить большие владения в окрестностях Арденкейпла и удалиться на покой. Здесь на досуге он предавался своему любимому занятию – выращиванию орхидей и тропических растений, тогда как его супруга не теряла времени даром, возлагая на себя обязанности и утверждаясь в правах хозяйки усадьбы, хотя, при ее простецких манерах и промахах в основных оборотах шотландской речи, она не была леди от рождения, в чем спокойно признавалась. Тем не менее леди Китовый Ус, как ее называл мой отец, была достойной женщиной, щедрой к Арденкейплу – она подарила деревне сельский клуб – и благотворительницей для всей округи. Кроме того, у нее было характерное мрачное чувство юмора и сильные перепады настроения, поскольку, помимо того что она поставила своему горько оплаканному мужу великолепный надгробный камень, изобилующий множеством страшноватых урн, она искренне поддержала и действительно прославила коллекцию орхидей, которую он собрал, до того как почил. Это может показаться странным, но в то время я ни разу и словом не обмолвился со столь высокопоставленной особой, хотя имел все основания быть знакомым с ее широко раскинувшимся поместьем, с лесами и рекой, аллеей длиной в милю, что вилась через парк между гигантскими рододендронами к большому дому с огромным зимним садом рядом с ним.

– Садитесь, дети. – Она подалась вперед. – В этой комнате очень душно. Откройте окно.

⁹ Реклама знаменитой в Шотландии компании «Макнивен и Кэмерон лимитед», изготавливавшей различные виды перьев для пишущих ручек. «Пиквик», «Сова» и «Уэверли» – типы острия пера.

Мисс Грант поспешно исполнила просьбу, в то время как ее светлость, устремив на нас грозный взгляд, совещалась с Пином, который, наклонившись и отставив назад свою позвонившую деформированную конечность, таким способом полусокрыв ее – вскоре я увидел, что это была его обычная поза, – послушным шепотом выражал согласие. Затем она обратилась к нам на характернейшем местном наречии, начав так:

– Дети, вы юны и слабы, но я надеюсь и молюсь, что пока вы еще не идете путем зла – ничего не портите, не бедокурите. Теперь вы себя спрашиваете, что за интерес у меня к вашей деревне и ко всем *вам*, какие вы есть, и, может быть, вы прислушаетесь к тому, что я собираюсь сказать.

Она довольно долго продолжала в том же духе, призывая нас усердно трудиться, совершенствоваться и всегда соблюдать моральные нормы и самые высокие стандарты хорошего поведения, подразумевая, что иначе нам здесь и далее в будущем придется несладко. Закончив, она поджала губы и одарила нас полной достоинства улыбкой, в которой, однако, были и юмор, и некоторое лукавство.

– Пока вы ничего не умеете. Чистая доска – вот что вы такое, чистая доска. Но я хочу проверить вашу природную сообразительность, посмотреть, есть ли у вас в голове хоть какая-то смекалка или что-нибудь подобное. Мисс Грант, карандаш.

Тут же ей был предоставлен желтого цвета карандаш, и, секунду подержав его перед нами, она с пафосом бросила его на пол. Мы замерли.

– А теперь, – выразительно воскликнула она, – у вас нет рук! Ни у кого из вас нет рук. *Но я хочу, чтобы этот карандаш был поднят.*

Что бы ни подвигло ее на этот экстравагантный эксперимент, – возможно, она посещала одну из своих многочисленных благотворительных организаций, дом для паралитиков в Ард-филлане, – результатом было молчание, мертвая тишина. Класс был в тупике. Внезапно я испытал приступ вдохновения. Как в тумане я встал, обмирая от своей смелости, сделал под общими взглядами несколько неверных шагов и, распростершись перед желтым карандашом, схватил его зубами. Но карандаш был круглым и гладким. Он выскользнул из моих слабых резцов, выстрелив далеко вперед на пыльный и неровный пол. Я на четвереньках последовал за ним, лицом долу, как следопыт-индеец. Снова я попытался схватить карандаш и снова потерпел неудачу. Преследование продолжалось. Никто не сводил с меня глаз. Теперь карандаш нашел себе щель между половицами. Я подтолкнул его вперед подбородком, уговаривая занять выгодное положение, но он на моих глазах мягко закатился в более глубокую щель, возле классной доски, куда уже просыпался мел. Однако кровь ударила мне в голову. Высунув язык, я вылизал свою добычу из ловушки, а затем, не дав карандашу покатиться, прикусил его сильно и надежно. Класс выдохнул и заплодировал, когда я с белым от мела ободранным носом встал на ноги, намертво зажав в челюстях карандаш.

– Отличная работа! – воскликнула леди Китовый Ус, с энтузиазмом похлопав в ладоши, а затем положив руку мне на голову. – Ты очень умный парень.

Я покраснел – меня распирало от гордости. Чтобы получить такую оценку от леди из поместья перед моей учительницей, перед директором школы и, самое главное, перед моими одноклассниками! И это в первый же день в школе. Очень умный мальчик. Какая радость рассказать маме!

Тем временем, пока мисс Грант отряхивала меня, ее светлость, с видом френолога, все еще держала доброжелательную руку на моем черепе.

– Сколько тебе лет?

– Шесть лет, мэм.

– Ты очень маленький для шести.

– Да, мэм. – Меня подмывало рассказать ей о своих почти смертельных болезнях, которые остановили мой рост, вероятно, навсегда, но я не успел открыть рот, как она продолжила – ободряюще, как настоящая патронесса:

– Ты должен есть кашу с молоком, побольше молока. Не только пенку, запомни. И никогда не задирай нос перед сущностью жизни. Ты понимаешь, что я имею в виду под «сущностью жизни»?

– О да, мэм. – Подогретый своим триумфом и тем, что я знаю больше других, я вспомнил слова отца, связанные с содержимым бутылки, и, пристально посмотрев на леди, ответил уверенно, громко и отчетливо: – Королевские голландские дрожжи Хагеманна!

В классе раздалось робкое хихиканье, переросшее в неудержимый хохот. С тревогой я увидел, что лицо моей покровительницы изменилось и одобрителное выражение было вытеснено тяжелым хмурым взглядом. Ее ладонь сжала мой череп.

– Ты смеешь смеяться надо мной, мальчик?

– О нет, мэм, нет!

Она так долго и пристально изучала меня, что мне казалось, будто мои внутренности вот-вот растворятся. Затем она осуждающе убрала руку, в то же время несильно подтолкнув меня вперед, по направлению к моему месту.

– Иди! Вижу, я ошиблась. Ты просто клоун.

Униженный, опозоренный на всю жизнь, фактически снова изгой, я просидел все оставшееся утро с поникшей головой.

По дороге домой, ища руку моего истинного защитника, я обливался слезами.

– Это бесполезно, Мэгги! – стонал я. – Я ни на что не гожусь, просто жалкий клоун!

– Да, – с унылым сарказмом отвечала Мэгги, для которой, видимо, утро в ее классе прошло не лучше. – Мы – прекрасная пара.

Глава третья

Несмотря на мамины опасения и унижение, которое я испытал в школе из-за королевских голландских дрожжей, дело с дрожжами стартовало самым благоприятным образом. Несомненно, это был шанс, которым мой отец, естественно человек умный, с острым и дальновидным взглядом на вещи, не преминул воспользоваться. Его личные познания в области торговли выпечкой, связи, которые он установил по всей Западной Шотландии в течение пяти лет работы продавцом на Мерчисонов, его привлекательная личность и легкая манера общения, которую он мог точно подстроить под статус любого клиента и которая, как правило, делала его популярной фигурой, а прежде всего – самоуверенность, с которой он сбрасывал свой пиджак, подвязывал белый фартук и наглядно демонстрировал новый процесс выпекания хлеба, – все это обеспечивало ему успех.

Свидетельством этому стала спустя несколько месяцев семейная поездка в Уинтон, когда отец, с гордостью показав нам свой новый маленький кабинет в торговом здании «Каледония», отвел нас на утренник про *Аладдина* в Королевском театре, а затем в знаменитый «Ресторан Тристл». Человек щедрый, он был более обычного расточителен в то Рождество. Вдобавок к новой зимней экипировке, которая меня не очень интересовала, я получил превосходные сани под названием «Подвижный летун» с рулевым управлением, тогда как для мамы в один из декабрьских дней из Уинтона в большом двуконном фургоне прибыло нечто, о чем, должно быть, она давно мечтала, с тех пор как вышла замуж, подарок, неожиданность которого, поскольку отец, по своему обыкновению, не проронил ни слова о его прибытии, только удвоил и утроил радость мамы. Пианино. Не какой-нибудь там желтоватый деревенский музыкальный ящик с плюшевыми вставками, под который мы вышагивали в школе, бренчавший как старое банджо, но совершенно новый, черного дерева, солидный инструмент с волшебным именем «Блютнер», с двумя позолоченными подсвечниками и сияющими клавишами из слоновой кости, которые при легчайшем касании издавали глубокие и яркие созвучия.

Мама, все еще совершенно ошеломленная, села на вращающийся стул, который был вместе с пианино, и, пока я стоял у ее плеча, она с изумительной живостью, поразившей меня, пробежала пальцами вверх и вниз по клавиатуре, заметив притом: «О дорогой Лори, мои пальцы такие неловкие»; замерла на мгновение, чтобы собраться с духом, а затем заиграла. Эта сцена столь живо стоит перед моими глазами, что я даже помню ту пьесу, которую она исполняла. Это был «Танец шарфов»¹⁰. Я, без всякого преувеличения, был буквально ошеломлен и очарован не только восхитительными звуками, которые воздействовали на мои барабанные перепонки, но чудом: мама, от которой, кроме песен, я никогда раньше не слышал ни одной музыкальной ноты и которая из верности отцу, не имевшему возможности приобрести пианино, никогда в моем присутствии не демонстрировала своего умения, через столько лет тишины вдруг обнаружила этот свой сокрытый и совершенный талант и очаровала меня сверкающим потоком музыки. Два грузчика, каждый из которых получил шиллинг, уже надев в холле свои картузы, задержались на выходе. Теперь, вместе со мной, когда мама закончила, они невольно заплодировали. Она радостно засмеялась, но покачала головой:

– О нет, Лори, я совершенно разучилась играть. Но это скоро вернется.

Здесь, в этой реплике, была еще одна загадка, вдобавок к тем другим, пока нераскрытым, которые осложняли и тревожили мои ранние годы, но когда я приставал к маме с соответствующими вопросами, она просто улыбалась и отвечала что-то уклончивое. Между тем ничто не могло отвлечь меня от этой новой радости. Отец не был музыкальным человеком и, хотя не имел ничего против пианино, на самом деле был равнодушен к нему; это, видимо – поскольку

¹⁰ «Танец шарфов» («Danse d'Echarpes») – пьеса Сесиль Шаминад (1857–1944), французской пианистки и композитора.

я начал *узнавать* отца, – в какой-то степени отложило приобретение инструмента. Его представление о музыке – это попури из известных мелодий в исполнении хорошего духового оркестра, для чего он приобрел несколько цилиндров к фонографу Эдисона – Белла с записями знаменитого «Бессеса»¹¹. Но для мамы, особенно в нашем неравноправном государстве, прекрасный «Блютнер» был и утонченней, и утешительней. Каждый день, закончив домашние дела и убедившись, что все у нее в полном порядке и блесстит, она «приодевалась» и «практиковала», время от времени наклоняясь вперед, поскольку от природы была чуть близоручкой, чтобы изучить трудный пассаж, затем, прежде чем возобновить игру, отводила в сторону свои мягкие каштановые волосы, которые, взлетая и распадаясь по пробору, закрывали ей лоб. Часто, когда я возвращался домой из школы, и всегда, если погода была дождливой, я молча шел в гостиную, чтобы послушать, и садился у окна. Вскоре я узнал названия тех вещей, которые мне нравились больше всего: это полонез ми-бемоль Шопена, Венгерская рапсодия Листа, а затем «Музыкальные моменты» Шуберта и моя самая любимая, чему, возможно, способствовало название, соната фа-минор¹² Бетховена, которая более других навевала преждевременную грусть, вызывая видения, в которых под сияющей луной я представлял самого себя, пропадающего в отдаленных землях и обретающего душевный покой в одинокой могиле героя, восстав из которой я бежал на кухню, чтобы поставить чайник на плиту и приготовить тосты с маслом к чаю.

Это была счастливая зима, которую ничто в дальнейшем не могло вычеркнуть из моей памяти. Наш маленький корабль, под парусами, наполненными попутным ветром, жизнерадостно плыл по морю своим одиночным безопасным курсом. Отец разбогател. В школе меня перевели в класс постарше, и, хотя я сожалел о расставании с мисс Грант, я был приятно удивлен, обнаружив, что меня тянет к моему новому наставнику. Пин, столь несправедливо осужденный Мэгги – его вспышки были лишь результатом расшатанной нервной системы, а не дурного характера, – возможно, потерпел бы неудачу за кафедрой проповедника, но как учитель он был превосходен. Естественно, он был гораздо образованнее подавляющего деревенского большинства, и у него был бесценный талант интересно подавать материал. Удивительно, но он, похоже, заинтересовался мной. Вероятно, он заметил, с какой иронией и свысока относились к нам в деревне, или, возможно, хотя он никогда в открытую не говорил об этом, у него были надежды превратить меня в своего рода головню, вытащенную из огня¹³. Так или иначе, я получил больше, чем заслужил, пользы от этого презираемого и отверженного маленького человека.

Как быстро пролетели эти месяцы! Я едва осознавал, что весна на подходе, пока отец, подверженный тому, что он называл «склонность к бронхиту», не подхватил в марте сильную простуду из-за своего язвительного ирландского пренебрежения старой шотландской поговоркой: «Не надень, что хочется, пока май не кончится». Но он справился с недомоганием, когда у сикоморы возле кузницы набухли почки, и вдруг мы оказались в зелени апрельских дней. Дул мягкий западный ветер, разнося на своих крыльях известие о том, что мы стали явно процветать. Был ли причиной такого редкого для здешних мест события своевольный визит моего двоюродного брата Теренса, шестнадцатилетнего мальчика, который с самых ранних лет был одарен носом, весьма восприимчивым к светлым воздушным потокам финансового благополучия?

¹¹ «Бессес» (Besses o' the Barn, или просто Besses) – один из старейших духовых оркестров Великобритании. Назван по местечку, где был создан в 1818 г.

¹² Возможно, герой имел в виду так называемую Лунную сонату № 14, до-диез минор, что следует из дальнейшего текста: «...под сияющей луной».

¹³ Зах. 3: 2: «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?»

Теренс – потрясающий, длинноногий, необыкновенно красивый юноша – был сверх меры наделен очарованием Кэрроллов. Его дом, который я никогда не видел, был в Лохбридже, всего в двенадцати милях отсюда, где его отец владел заведением со странным названием «Погребба Ломонда». В то время как я не осознавал тогда возможных последствий, связанных с загадочным словом «погребба», помимо того что оно предполагало некие подземные глубины, – великая особенность Терри, читаемая в моих полных зависти глазах, состояла в том, что он учился в знаменитом Роклифф-колледже в Дублине в качестве пансионера. Итак, в свои пасхальные каникулы он прикатил к нашим воротам на новом сверкающем велосипеде «радж-уитворт». На Терри были хорошо отутюженные серые фланелевые брюки, с которых он небрежно снял зажимы, синяя фланелевая форменная куртка Роклиффа и соломенная шляпа с эмблемой колледжа, надетая набекрень. Просто олимпиец прямо с Парнаса – или из «Погребов»? – он ослепил меня.

Мама, изголодавшаяся по посетителям и исполненная самого пылкого гостеприимства, была рада видеть Теренса, хотя и смутилась, поскольку была не готова к приему гостя.

– Мой дорогой мальчик, если бы ты только сообщил мне, что приедешь, я бы приготовила для тебя такой хороший обед. – Она посмотрела на часы, которые показывали три часа без двадцати минут. – Скажи, чем я могу сейчас тебя угостить?

– На самом деле я уже обедал, тетя Грейс. – (Я отметил, что подчеркивание родства понравилось моей матери.) – Тем не менее я не прочь перекусить.

– Просто скажи, чего ты хочешь.

– Что ж, вообще у меня слабость к яйцам вкрутую, если у вас найдутся.

– Конечно. Сколько бы ты хотел?

– Скажем, полдюжины, тетя Грейс, – беспечно предложил Теренс.

Пятнадцать минут спустя он сидел за столом, изящно вступая в контакт с шестью яйцами вкрутую и несколькими ломтиками деревенского хлеба, густо намазанными маслом, одновременно рассказывая в небрежной манере, с акцентом и интонацией высших слоев Дублина, о своих замечательных триумфах за прошедший семестр, о победе в спринте на сто ярдов на школьных спортивных соревнованиях. Невозможно было не восхищаться, что мы и делали, хотя мама, казалось, немного заскучала, когда в третий раз Теренс повторил:

– Я так рванул в финальном забеге, что казалось, будто они стоят на месте.

Позднее именно она предложила, чтобы Теренс взял меня прогуляться до возвращения моего отца. Когда мы отправились по дороге в деревню, я вложил свою ладонь в его и восторженно выдал:

– О кузен Терри, как бы я хотел вместе с тобой побывать в Роклиффе!

Теренс пристально посмотрел на меня, затем достал зубочистку и начал рассеянно ковырять в зубах.

– Только не говори твоей матери – она у тебя как блаженная, – но одно из яиц было пустым.

Он слегка наклонился, чтобы подчеркнуть значимость сказанного.

– О, извини, Терри. Но ты слышал, что я сказал про Роклифф?

Теренс безмолвно покачал головой, но закончил фразой, которая охладила мой пыл:

– Мой бедный шустрик, ты никогда не выдержишь удара трости с наконечником. Роклифф забьет тебя до смерти. Боже мой, что это за объект там?

Я повернулся. Это была Мэгги в своем амплуа рабыни, с большим узлом белья, раскачивающимся на голове, неуклюжая, неопрятная, машущая мне, дико машущая мне в дружеском приветствии. Меня словно скукожило. Признать Мэгги в присутствии Теренса? Нет-нет, это было немыслимо. Виновный в первом из двух великих актов предательства, случившихся в моем детстве, я отвернулся.

– Бог знает, кто это, – пробормотал я в своем жалком подражании манере моего двоюродного брата и пошел дальше, оставив Мэгги так и стоять в изумлении, с поднятой рукой.

В начале дороги Теренс остановился у бакалейной лавки. За окном на стеклянной подставке лежал один из фирменных десертных яблочных пирогов Гранта. Кроме того, внутри, склонившись над книгой – локти на прилавке, спиной к нам, – сидела Полли Грант. То, что нашим глазам была представлена довольно пышная часть тела девушки – та, на которой сидят, – похоже, позабавило моего кузена Теренса. Он с легкостью уселся на подоконнике, переводя взгляд с яблочной выпечки на ничего не подозревающую Полли.

– Похоже, неплохой пирог, – прокомментировал он.

– О да, Терри. Просто великолепный.

– Абсолютно круглый?

– Они всегда круглые, Терри.

К моему удивлению, Теренс рассмеялся, и Полли, прервав чтение, встала и повернулась к нам. Встретив взгляд моего кузена, она зарделась и захлопнула книгу.

– Мы могли бы попробовать чего-нибудь сладкого после яиц, – продолжил Теренс. – Полагаю, у вас тут есть свой счет.

– О да, счет у нас есть. Я часто делаю покупки для мамы в кредит.

– Тогда предположим, что ты забежал за выпечкой и записал ее в долг. – Он добавил небрежно: – Потом я расплачусь за нее.

Я охотно повиновался. Мне показалось, что Полли немного не в себе. Она даже забыла дать мне мою обычную карамельку.

– Кто этот молодой человек с тобой? – все еще пунцовая, осведомилась она.

– Мой кузен Теренс, – гордо ответил я.

– Тогда скажи ему, что он довольно нахальный.

Естественно, выйдя с пирогом, я и мысли не допускал передать такие слова моему двоюродному брату, который, осматривая окрестность, предложил прогуляться до тенистой зелени на краю деревни; это место тут называли Гоммон.

Он удобно уселся, привалившись спиной к каштану, и раскрыл бумажный пакет, из которого пошел вкусный аромат хрустящего слоеного теста.

– Не такой уж большой при ближайшем рассмотрении, – заметил он, разглядывая пирог, который, на мой взгляд, оказался гораздо больше вблизи. Он был по крайней мере девяти дюймов в диаметре, покрытый снежной сахарной пудрой и источающий дивный сок. – Хм... – сказал Теренс. – У тебя не найдется ножа?

– Нет, Терри. Мне еще не разрешают носить нож. Боятся, что могу порезаться, – извинился я.

– Жаль, – задумчиво сказал Теренс. – Мы не можем разломить его, иначе все будем в его начинке.

Пока Теренс, нахмурившись, как бы глубоко задумался, у меня в предвкушении вкуснейшего лакомства потекли слюнки.

– Есть только один выход, парень, – наконец сказал он решительно. – Нужно бросить монету – кому пирог. Ты ведь игрок, не так ли?

– Если ты – да, то и я, Терри.

– Отлично, парень! – Он с серьезным видом достал монету. – Орел – я выиграл, решка – ты проиграл. Я даю тебе преимущество. Загадывай.

– Решка, Терри, – робко рискнул я.

Он открыл монету.

– Решка, какая жалость! Слышал, как я сказал: «Решка – ты проиграл»? Ну, в следующий раз тебе больше повезет.

В некотором смысле, хотя глаза мои часто моргали, я был не слишком огорчен проигрышем. Глядя, как Теренс медленно и с явным наслаждением уписывает пирог, я косвенно получал удовольствие, вплоть до того момента, когда от слоеного пирога осталась последняя корочка.

– Было вкусно, Терри?

– Так себе, – критически отозвался он. – Но слишком сочный для твоей молодой крови. – Не меняя позы, он вытащил из кармана свой латунный портсигар, достал сигарету с золотым наконечником и, пока я с благоговением смотрел на него, закурил. – Табак «Дикая герань», – пояснил он.

– Терри, – сказал я, – как хорошо, что ты здесь! Почему бы тебе не приезжать почаще? И почему бы мне не приехать к вам?

– Уфф, – сказал он, выпустив дым через ноздри. – Вижу, тебя интересует наша семейка. Я ухватился за возможность что-то узнать о нас:

– Да, расскажи мне, Терри.

Он колебался, словно готов был уступить, но затем помотал головой в знак отрицания:

– Ты слишком молод, чтобы занимать мозги такой ерундой.

– Но я занимаю, Терри. Есть вещи, которых я не понимаю. Главное, почему мы никогда не видимся с нашими родственниками.

Он искоса посмотрел на меня. Разве он не чувствовал, что мне небезразлично то, что происходит с неизвестными мне членами нашего рода?

– Что, никто из родни твоей матери не приезжал к вам?

– Нет, Терри. Только лишь один из братьев мамы. Который в университете, самый молодой, по имени Стефан. И только лишь один раз за все время.

Повисла пауза.

– Ну, парень, – сказал наконец Теренс назидательно, – признаться, тут есть своя заковыка. И поскольку тебе не удастся узнать кое-что из прошлого, не вредно набросать несколько штрихов на эту тему.

Пока я сосредоточенно ждал, он откинулся назад, попыхивая сигаретой, и вдруг начал.

– Прежде всего, – сказал он громко, почти обвиняюще, – если бы не Каледонская железнодорожная компания, ты бы сегодня здесь не сидел. Факт, тебя бы просто не было.

Это неожиданное заявление потрясло меня. Я растерянно уставился на него.

– Видишь ли, – продолжал он, – каждый вечер, когда дядя Кон возвращался с работы из Уинтона, ему приходилось пересаживаться на другой поезд в Ливенфорде, чтобы на местном подкидыше из Кэйли добраться до Лохбриджа, где он жил в то время. Иначе бы он никогда не увидел твою мать.

Подобный вариант развития событий показался мне таким невероятным, что моя тревога усилилась. С удовольствием отмечая, насколько мое внимание приковано к нему, Терри продолжал с легкой небрежностью:

– Обычно Кон заходил в зал ожидания с газетой «Уинтон геральд», потому что поезд из Кэйли всегда опаздывал. Но в один из таких вечеров что-то привлекло его внимание или, скорее, кто-то.

– Мама! – ахнул я.

– Еще нет, парень. Не торопи меня. На тот момент она просто Грейс Уоллес, семнадцатилетняя милашка. – Он укоризненно нахмурился. – Она постоянно приходила с папкой для нот встречать своего брата-школьника, который возвращался этим же поездом из Академии Дринтона. – Он сделал паузу. – Конор, твой отец, всегда, ты уж извини меня, посматривал на хорошеньких девушек. Однако в тот раз все было иначе. Он хотел заговорить, но опасался, что оскорбит ее. Но как-то вечером он все же решился. И в этот момент, парень, – неожиданно повысил голос Терри, – когда они посмотрели друг другу в глаза, все рухнуло!

– Что рухнуло, Терри? – едва прошептал я.

– Ее родители были истовыми, стопроцентными пресвитерианцами, строже не бывает, а она была зеницей ока у старика, который, что еще хуже, происходил от шотландских предков, начиная от самого Уильяма Уоллеса¹⁴, если ты когда-нибудь слышал о нем. Итак, была чудесная девушка, о которой весь городок был прекрасного мнения, она помогала матери по дому, пела, как ангел, в церковном хоре, никогда не оступалась. – Терри печально покачал головой. – Когда узнали, что она связалась с этим выскочкой, католиком-ирландцем, родным братом трактирщика и, бог ты мой, священника, то, черт возьми, парень, у них всех действительно снесло крышу. Мольбы и слезы. Несколько месяцев это был суший ад, когда родня пускалась во все тяжкие, чтобы разлучить парочку. Не помогло, парень. В конце концов, не сказав никому ни слова, хотя Кон не мог бы похвастаться и пятью фунтами стерлингов в кармане, они просто пошли и зарегистрировали брак. Она знала, что ее родня никогда больше не будет разговаривать с ней, и Кон знал, что он будет отщепенцем для своих, потому что он не освятил брак в церкви, но не важно – они поженились.

– О, я рад, что они это сделали, Терри! – горячо воскликнул я, потому что слушал его рассказ затаив дыхание.

Терри рассмеялся:

– По крайней мере, шустрик, у них получился ты, законнорожденный.

Какое-то мгновение он сидел, изучая меня, как бы пытаясь прочесть мои мысли, но теперь во мне было пусто. Возможно, то, что он рассказал, не совсем меня удивило, я, должно быть, о чем-то догадывался насчет моих родителей. Но внезапно на меня накатила ужасная депрессия, усугубленная тем, с каким веселым равнодушием Терри относился к истории, так глубоко меня задевшей.

– Итак, теперь ты все знаешь, – нарушил он молчание. – Только не выдавай меня.

– Не выдам, Терри, – глухо сказал я. Я был менее счастлив, чем надеялся, и, чтобы подбодрить себя, сказал: – Значит, у меня двое дядей?

– С нашей стороны у тебя трое. Мой отец, твой дядя Бернард в Лохбридже и его преподобие дядя Саймон в Порт-Крегане, не говоря уже о твоём дяде Лео в Уинтоне, хотя о нем мало что известно. – Он поднялся и помог мне встать. – Нам пора домой. Мне нужны спички, поэтому я загляну в магазин. Ну, давай наперегонки.

Он пружинисто побежал, желая показать мне свой стиль. У меня не было настроения бегать, но теперь я испытывал странный дух соперничества по отношению к своему несравненному кузену. Я припустил за ним изо всех сил, так что Терри, глянув через плечо, был вынужден отбросить свою напускную важность и прибавить ходу. Возможно, яблочный пирог и яйца вкрутую мешали ему, возможно, рассказ о его подвигах в спортивных состязаниях Роклиффа был отмечен природным даром все преувеличивать. Он меня не опередил – мы добежали до магазина Гранта вровень, локоть к локтю. Когда мы отдышались, он впервые глянул на меня с оттенком уважения:

– А ты быстрый, парень. Не могу поверить. Ну, конечно, ты понял, что я не выкладывался.

Пока я ждал снаружи, он надолго застрял в магазине. Полли, помогавшая ему, вовсе не выглядела недовольной из-за его повторного появления и привередливости, с которой он выбирал спички. Когда я посмотрел в окно, Терри, похоже, сильно ее смешил. Такой уж он был, беззаботный и беспечный. Мог ли Терри действительно любить кого-нибудь, не говоря уже о бедном маленьком шустрике, таком как я? У меня вдруг перехватило горло.

Печаль сопровождала меня до самого дома, став еще глубже во время восхитительного ужина из куриных блюд, который приготовила мама, тогда как я не мог проглотить и кусочка.

¹⁴ Уильям Уоллес (William Wallace; 1270–1305) – шотландский рыцарь, один из военачальников в войне за независимость от Англии. Почитается в Шотландии как патриот и народный герой.

Отец, пребывавший в одном из своих лучших настроений, когда душа нараспашку, выказал особую любовь к Терри, дав ему соверен, на который, видимо, Терри рассчитывал и который, скорее всего, и был целью его визита. Затем мой кузен зажег карбидную фару на велосипеде, вскочил на него и отправился в Лохбридж.

Когда он скрылся из виду, я пошел на кухню.

– Мама, – сказал я, подходя к ней, – пусть и не очень-то, но все-таки я игрок.

– Ты? – без энтузиазма сказала мама. – Не знаю, хочу ли я, чтобы ты был игроком.

– Но это хорошо ведь. Терри сказал, что я игрок, когда мы бросали монету на яблочный пирог.

– Яблочный пирог? – Мама в недоумении повернулась, ее руки были в мыльной пене. – Вот почему ты не ел за ужином.

– Нет, мама. Я ни чуточки не попробовал пирога. Терри все съел.

– И откуда же взялся этот знаменитый пирог? – Теперь мама очень странно и вопрошающе смотрела на меня.

– Ну, мама, это я его купил и записал на наш счет.

– Как! Ты записал на наш счет!

Мать была изумлена. Отец же, который подошел и все слышал, вдруг спросил:

– Как Терри бросал монету?

– Он вел себя честно, папа. Он сказал: орел – его выигрыш, решка – мой проигрыш.

Отец зашелся от смеха, столь долгого, что все закончилось тяжелым кашлем с бронхиальным спазмом.

– Юный мерзавец! – задыхался отец. – Он типичный Кэрролл.

– Не вижу тут ничего смешного, – холодно сказала мама. – Я поговорю с тобой серьезно об этом утром, Лоуренс. А теперь ты пойдешь прямо в постель.

Я медленно и грустно разделся. Этот день, начавшийся так радостно, горечью стоял во рту. Мои ум и совесть испытывали тяжесть вины. Разве я не предал Мэгги, дорогую Мэгги, моего друга и защитника, да, отмахнулся и отрекся от нее, и все ради двоюродного брата, который думал обо мне не больше, чем, скажем, о коробке спичек фирмы «Свон»? Больше всего на меня давила тайна, связанная с моими родителями, в которую Терри меня посвятил, изоляция, в которой мы были вынуждены жить. Я уткнулся в подушку и позволил пролиться горячим слезам.

Глава четвертая

В том году осень наступила рано. Листья моего любимого дерева, тронутые золотом и багрецом, опали, соткав королевский ковер у входа в кузницу. С залива поползли утренние туманы, оставляя хрустальные росы на перистых травах поля Снодди. В мягком воздухе было ощущение перемен и чего-то неосязаемого, что заставляло меня мечтать о дальних землях, неведомых королевствах, где, как мне тогда еще казалось, я бывал в какие-то забытые стародавние времена.

Но сегодня было воскресенье, реальный день, который всякий раз, когда я просыпался и улавливал явственный запах жареного бекона и яиц, настраивал меня на более практический лад. Отец по воспитанию и вере был тем, кого я должен назвать убежденным католиком, то есть, несмотря на некоторые свои смелые и неординарные высказывания, он стоял на своем перед лицом противников этой конфессии, но едва ли его можно было считать прилежным прихожанином. Если на седьмой день недели сияло солнце и погода обещала быть хорошей, он нанимал у фермера Снодди пони и рессорную двуколку и отправлялся в ближайшую католическую церковь Святого Патрика в Дринтон, в девяти милях отсюда. Мать, несмотря на свое протестантское воспитание, охотно ехала с ним. Она была так привязана к мужу, что, по моему убеждению, если бы он исповедовал индуизм, охотно сопровождала бы его и в индуистский храм. Меня, конечно же, брали с собой, и мы с мамой затаив дыхание следили за тем, как неловко отец управляет с поводьями, пытаясь выдать свою неосторожность за высокое мастерство, что не могло обмануть ни нас, ни, в данном случае, пони. Стукнув копытами, когда отец срезал углы, пони оборачивался и, вытянув шею, с возмущенным удивлением смотрел на него. На дорогах редко можно было встретить автомобиль; обычно это был красный «аргайл» с автомобильного завода в Лохбридже, и, когда такой проезжал мимо в облаке пыли, чудом не врезавшись в нас, мама, придерживая широкополую шляпу, восклицала:

– О дорогой, эти ужасные машины!

– Нет, Грейси, – невозмутимо отвечал отец, понукая шарахнувшегося пони. – Это прекрасное изобретение. Поскольку я собираюсь занять такое авто, не надо на них наезжать.

– Это они могут на нас наехать, – бормотала мне на ухо мама.

Но было много воскресений, когда отец чувствовал, что Бог не требует от него подвергать семью опасностям, связанным с дорогой, и, глядя на его лицо, когда он изучал рыхлое серое небо и принохивался к мягкому, намекающему на дождь западному ветерку, я знал, что это осеннее утро чревато в высшей степени приятными волнениями, остроту которым придавала неизвестность, стоявшая за ними. И действительно, после завтрака, на который отец явился в своем халате, он повернулся к маме:

– Голубушка, а не сделаешь ли несколько сэндвичей – мальчику и мне?

Отец обычно называл маму «голубушкой», когда просил ее о какой-нибудь услуге.

Он поднялся наверх и затем спустился в обычной экипировке для наших походов: толстый серый полушерстяной костюм «Норфолк», крепкие ботинки и трикотажные чулки, а также непромокаемый плащ, который, как пончо, крепился на шее металлической застежкой.

Мы отправились в путь, вверх по дороге к станции и через деревню, где уже начали звонить колокола в приходской церкви. В ответ на этот призыв *туземцы*, как мой отец упорно называл местных жителей, все поголовно в степенно-черном, вооруженные своими черными Библиями, двинулись к церкви в медленном и торжественном богопослушном потоке.

– Черные тараканы! – раздался рядом со мной полный отвращения возглас.

Я уверен, что отец намеренно выбрал этот момент, дабы как чужак-католик возмутить шотландское шествие выходного дня. Это был его способ бросить вызов негласному предубеждению против нас в деревне. В настоящее время, когда просвещенный либерализм

стремится содействовать единству Церквей, трудно представить себе тогдашнее ожесточение против католиков, особенно против ирландских католиков, на западе Шотландии. Этих потомков неугодных голодных беженцев, многие из которых до сих пор не смогли подняться выше уровня трудового класса, называли «грязными ирландцами» и повсеместно презирали и осуждали из-за национальной и религиозной принадлежности, о чем публично высказывались в таких выражениях, как «римская блудница, пьющая из чаши мерзости» или «шлюха, сидящая на семи холмах греха». Помню, что меня самого пробирала дрожь, когда я пытался растолковать слова проповеди, которая должна была звучать в деревенской приходской церкви: «Рим, место зверя, согласно Откровению гл. 17: 4–13».

Но, в отличие от меня, у отца был боевитый характер, и он с презрением и издевкой наблюдал, как люди, шокированные нашим внешним видом, кривят рты и бросают на нас осуждающие взгляды. Теперь, как и всегда, он вышагивал по деревне весело и беспечно, с высоко поднятой головой, насмешливая улыбка изгибала уголки его губ, которые он иногда, выразительно насвистывая, складывал трубочкой. Для меня, в смертном ужасе семенящего рядом, это было тяжелое испытание, разве что лишь чуть скрашиваемое скрытно завистливыми взглядами мальчишек, для которых воскресенье было наказанием, омраченным двухчасовой проповедью, днем мучительной скуки, когда случайный всплеск эмоций был скверной, смех – преступлением, а проезд одного медленного поезда, известного как «воскресный нарушитель», – глумлением над святостью дня, примером того, что публично было объявлено злом, ведущим мир к гибели.

Я перевел дыхание, лишь когда мы миновали последнее строение деревни, лесопилку Макинтайра, и вышли на простор. Далее мы оказались у поместья Мейкл, пройдя величественные ворота, возведенные в стиле шотландских баронов, с высокими колоннами, на каждой из которых в нише из резного камня сидел зеленый бронзовый орел. За ними, вися по парку между горами рододендронов, уходила вдаль аллея, вероятно в бесконечность. Вид этого исключительного великолепия уже заранее вызвал у меня трепет, который усилился, когда отец, пройдя еще шагов двести по проселочной дороге, осторожно осмотрелся и, поманив меня за собой, нырнул в прореху в живой изгороди. Теперь мы оказались в лесистом парке леди Китовый Ус, куда вход посторонним был строго запрещен.

Я содрогнулся, подумав об этом. Отец, однако, совершенно невозмутимый, направился под буками по знакомому маршруту – буковые орехи слишком громко трещали под нашими ботинками, – и наконец мы вышли в поросшую папоротником лощину. Затем отец обогнул плантацию молодых лиственниц и углубился в более густые заросли с подлеском, где раздавалось эхо плещущей воды. Это была строго охраняемая река Джелстон, известная тем, что в нее заходила морская форель.

Оказавшись на берегу реки, рядом с водопадом, отец первым делом вынул из-под плащанакидки двухфуттовую холщовую сумку и достал из нее складную, из железного дерева удочку, прикрепил катушку спиннинга, выпустил леску и начал забрасывать наживку в сливочную пену заводи. Еще мальчишкой, живя у берегов Лох-Ломонда, он страстно рыбачил в каждой речушке, впадающей в озеро, и теперь, пока я пристально наблюдал, как он время от времени подергивает удочку, его азарт передался и мне.

Хотел бы я похвастаться, что отец был одним из тех, кто, как пуританин, рыбачит на искусственную мушку, или проще – нахлыстом. Но это было не так. Он ловил рыбу на дождевых червей, выкопанных в деревне для нас Мэгги, которых по одному, жирных и извивающихся, я доставал из банки из-под какао «Ван Хоутен» – она была в моем кармане. Целью отца было поймать рыбу, и он придерживался способа, который хорошо ему служил в юности. Однако сегодня, похоже, нам не везло.

– Совсем не клюет. – Отец был раздосадован, ему не нравилось терпеть поражение. – Но морская форель должна подойти. Мы оставим леску в воде и пообедаем.

Наши сэндвичи были всегда хороши, особенно с томатами. Мы сели на полянке под серебристой березой, которая рассеивала мягкий серебристо-зеленый свет. Река плескалась и сверкала за высокой травой и тростником. Шум леса пугающе напоминал о том, что эти места находятся в частной собственности. Внезапная болтовня сойки заставила меня вздрогнуть. Как и во всех наших походах, в настоящий момент я страшно боялся, что нас застукает лесник или, что еще хуже, хозяйка имения, эта грозная маленькая дама, выразившая мне презрение в первый же мой день в школе, – мысленно я обозначил ее кратко и неприязненно словом *она*. Этот страх омрачал мою радость. Отец коварно или, может быть, ради того, чтобы добавить мне толику храбрости, иногда изображал панику: «Тсс! Вон она!», заставляя меня бледнеть, сам же при этом пренебрежительно покачивал головой.

Когда наш пикник закончился, отец откинулся навзничь, заложив руки за голову, – шляпа съехала ему на глаза. По его слегка ословевшему взгляду было видно, что он не прочь вздремнуть, – так и оказалось, когда он сонно пробормотал:

– Сходи пособирай что-нибудь.

Лес был полон дикой малины. Незачем было далеко ходить, поблизости я нашел большой малинник. Как только я оказался среди его высоких кустов, благополучно укрывших меня от опасностей, во мне проснулся дух приключений. В мгновение ока из бедного маленького шустрика, как называл меня Терри, я превратился в героя вечерних историй отца. Выбирая медово-сладкие ягоды, пачкая лицо и руки малиновым соком, я выживал на безлюдных островах, преодолевал голод в непроходимых джунглях, утолял жажду в оазисах пустыни, где передвигался верхом на верблюдах.

Вдруг я услышал один за другим несколько всплесков, заставивших меня вернуться к отцу. Он стоял на берегу, с усилием, двумя руками, удерживая удочку, которая изогнулась невероятной дугой, а в заводи билась как сумасшедшая большая рыбина, вертясь и ныряя, прыгая в воздух и оглушительно ударяясь о водную поверхность.

В течение нескончаемых минут, пока продолжалась схватка и кипела заводь, я трепетал из-за опасения, что наша добыча может от нас уйти. Наконец эта прекрасная рыбина медленно выплыла, уставшая и побежденная, ее серебряная чешуя казалась золотистой от торфяной воды, и отец быстрым, но плавным движением вытянул ее на пологий галечный берег.

– Какая красота! – воскликнул я.

– Проходная¹⁵ морская форель. – Отец тоже тяжело дышал. – Не менее пяти фунтов.

Когда мы наконец успокоились и со всех точек зрения повосхищались нашей добычей, отец решил, что с нас хватит на этот день, так как солнце уже сильно припекало. На самом деле ему до смерти хотелось показать рыбину маме, которая часто открыто посмеивалась по поводу размеров нашего улова. Он наклонился, пропустил толстый шнур через жабры форели, а затем, подняв рыбу до пояса, подвесил ее, надежно привязав шнуром к брючному ремню.

– О том, чего глаз не видит, сердце не скорбит, – пошутил он, накидывая сверху плащ. – Пошли, мальчик. Нет, не сюда...

Отец, вдохновленный удачей, был явно в самом приподнятом настроении. Я понял, что из-за большой тяжелой рыбины, которую следовало спрятать под стесняющим движения плащом, он не хочет возвращаться длинным путем через леса и заросли. Несмотря на мои тревожные протесты, он заявил, что мы сократим расстояние, пройдя полями, надо только пересечь главную аллею за большим домом. Мне оставалось лишь последовать за ним.

– Воскресный день, – успокоил он меня, когда мы приблизились к кустарнику, росшему вдоль подъездной дороги к дому. – Там сегодня ни души.

¹⁵ Так называемые проходные лососи и форели нагуливаются и растут в море (или озере), а на нерест поднимаются во впадающие в него реки.

– Но посмотри! – Я указал на штандарт с изображением льва над домом. – Флаг поднят. Она там!

– Видимо, прикорнула после обеда.

Едва он это сказал, как, выйдя из-за куста рододендронов, мы едва не столкнулись нос к носу с пухлой коротышкой в легком муслиновом платье, которая из-под своего кружевного зонтика с изумлением уставилась на нас. Я чуть не упал в обморок. Это была *она*. Я хотел убежать, но мои ноги отказались повиноваться. Отец же, несмотря на непроизвольный испуг и краткосрочную утрату естественного цвета лица, пытался скрыть свою оторопь. Он снял шляпу и поклонился:

– Ваша светлость... – Он сделал паузу и слегка кашлянул. Я понимал, что он ломает себе голову над тем, как нам выйти из этой катастрофической ситуации. – Надеюсь, вы не расцените это как вторжение. Позвольте мне объяснить...

– Позволяю, – с ужасным шотландским акцентом прозвучал ответ – в ее голосе слышалась смесь подозрения и крайнего неудовольствия. – Что вы делаете в моем поместье?

– Охотно объясню! – воскликнул отец, еще не зная, что сказать, и снова кашлянул. Затем, как фокусник, не приподнимая полы своего плаща, он вытащил из нагрудного кармана одну из визитных карточек. – Мадам, позвольте мне представиться, – сказал он, вежливо, но настойчиво пытаясь всучить визитку хозяйке имения, не обратившей на нее ни малейшего внимания. – Дело в том, что мой партнер минхер Хагеманн из Роттердама... вот его имя на моей карточке... он является кем-то вроде ученого-садовода. Голландец, ну вы понимаете, они все там садоводы. Когда в разговоре на днях я случайно упомянул о вашей знаменитой коллекции орхидей, он просил, просто умолял меня найти для него возможность встретиться с вами. Он полагает, что в следующем месяце будет в Уинтоне. И если бы вы были столь любезны... – Отец замолчал.

Повисла тишина. Взгляд леди Китовый Ус, переходя с одного из нас на другого, остановился на мне, и в ее глазах я прочел роковое узнавание. Наконец она надела пенсне, на золотой цепочке подвешенное на шее, и изучила карточку.

– Королевские голландские дрожжи Хагеманна. – Ее глаза снова нашли мои. – Тесные отношения с эссенцией жизни.

– Да, мадам, – скромно признал отец, уверенный в том, что хорошо выкрутился.

Стоя непринужденно, чуть ли не улыбаясь, он совершенно не подозревал о таинственных, однако методично падающих каплях – каплях воды от форели, уже образовавших довольно большую лужу как раз между его ботинками. Сердце мое замерло. *Она* видела это? И как, о боже, она на это среагирует?

– Итак, ваш партнер интересуется орхидеями... – Она помедлила. – Я думала, что голландцы выращивают лишь тюльпаны.

– Конечно тюльпаны, мэм. Целые поля. Но и орхидеи тоже.

Призрак улыбки на губах леди Мейкл обнадежил меня. Увы, это была иллюзия.

– Тогда пошли, – решительно сказала она. – Я покажу вам свою коллекцию, и вы можете все о ней рассказать вашему любителю-минхеру.

– Но, мэм, я лишь полагал, что вы назначите встречу, – возразил отец. – Мы и думать не могли о том, чтобы беспокоить вас *в воскресенье*.

– Всему свое время, мой дорогой сэр. На самом деле я настаиваю на своем. Мне небезынтересно посмотреть, как вы оба будете реагировать на мои орхидеи.

Отец впервые выглядел абсолютно растерянным, словно утратившим дар речи. Но пути назад не было. Наша чичероне, то бишь гид, повела нас по аллее вдоль террасы перед внушительным особняком прямо в оранжерею – в это примыкавшее к дальнему крылу дома огромное стеклянное сооружение в викторианском стиле, декорированное выкрашенной в белый цвет металлической конструкцией. Мы вошли в этот хрустальный дворец через двойные стек-

лянные двери, которые были за нами тщательно закрыты, и, встреченные потоком влажного воздуха, мы сразу очутились в тропиках. Высоченные пальмы поднимались до самой крыши, перемежаясь с гигантскими папоротниками, распростершими огромные стебли над моей головой, тут же были банановые деревья с гроздьями и кистями миниатюрных плодов, странные переплетенные лианы, колючие юкки, большие водяные лилии в бассейне, размером с чайные подносы, масса роскошных растений, о названиях которых я даже не мог гадать, и среди всего этого, вызывающе пестрые, сияющие, как прекрасные птицы джунглей, – орхидеи.

Будь я в нормальном состоянии, как бы я восхищался этой волшебной материализацией многих своих мечтаний. Даже сейчас я еще помню то возбуждение. Я удивленно глазел вокруг, как в грезе следуя за нашей дамой, которая, переходя от экспоната к экспонату, в почти приятной манере показывала отцу свою коллекцию. Было жарко, ужасно жарко. Я уже начал потеть. Во все стороны разбегались трубы, испуская порции пара, и не знаю, так ли это, но мне от перенапряжения казалось, что там, где особо интенсивно подавалось тепло, наша дама вынуждала отца останавливаться, дабы он выслушал ее и все рассмотрел. Впервые с тех пор, как мы вошли, внимательно посмотрев на него, я увидел, что он страдает. Да, жестоко страдает в своей тяжелой шерстяной одежде. Крупные капли пота стекали по его лицу, которое своим цветом если еще не походило на мамины сэндвичи с томатами, то уже приобрело тона тушеного ревеня.

– Может, вы встали близковато. Не хотите ли снять плащ?

– Благодарю вас, мэм, спасибо, нет, – поспешно сказал отец. – Мне абсолютно удобно. Я люблю тепло.

– Тогда взгляните на эту совершенно исключительную каттлею. Вон там... наклонитесь над трубами, чтобы рассмотреть ее получше.

В отличие от других орхидей, о запахе которых мы пока оставались в неведении, эта каттлея, вероятно, источала ни с чем не сравнимый аромат. Короче, когда отец наклонился над ней, от нее пахло рыбой.

Меня снова охватил ужас. Нашу форель, привыкшую к холодным водам океана, совершенно не устраивало это экваториальное пекло.

– Красивая... невероятно красивая... – Едва ли отец осознавал, что он говорит, тайком вытирая мокрый лоб тыльной стороной руки.

– Мой дорогой сэр, – озабочилась наша мучительница, – вам явно нехорошо от жары. Я настаиваю на том, чтобы вы сняли этот тяжелый плащ.

– Нет, – глухо пробормотал отец. – Дело в том, что... мы действительно благодарны, но... важное дело... уже поздно... время поджимает... мы должны идти...

– Чепуха! Я этого не допущу. Вы не посмотрели и половины моих сокровищ.

И пока наша собственная температура все поднималась, а тропический зной все набирал силу, эта маленькая страшная дама заставила нас совершить медленный удушливый обход всей своей оранжереи – стоя внизу, она вынудила нас даже подняться по спирали белоснежной железной лестницы до самой крыши, где смертельная жара, с каждым шагом становящаяся все невыносимей, преподнесла нам мираж, панорамой которого мы наслаждались, полагая, что видим перед собой темно-зеленую морскую ширь с прохладными манящими волнами, в которые отец, во всяком случае, охотно бы окунулся.

Наконец *она* открыла двойные застекленные двери. Затем, когда мы стояли, измотанные, на благословенном свежем воздухе, она одарила сначала меня, а потом отца мрачноватой, но в то же время как бы любезной улыбкой.

– Не забудьте передать мои приветствия вашему голландскому другу, – сказала она почти доброжелательно. – *И на сей раз можете оставить себе эту рыбу.*

Весь путь по аллее отец молчал. Я боялся поднять на него глаза. Сколь ужасно, должно быть, он чувствовал себя в своем унижении – сокрушительном унижении человека, которого

я до сих пор считал всеильным, способным выходить из самых неловких и отчаянных положений. Вдруг я с испугом услышал, что отец смеется, – да, он смеялся. Я думал, он никогда не остановится. Повернувшись ко мне с видом соумышленника, он дружески хлопнул меня по спине:

– А старушенция утерла нам нос, сынок. И будь я проклят, она мне понравилась.

Этим несколькими словами он вернул себе свой статус. Моя вера в него была восстановлена. Таким он и был всегда, мой отец, извлекающий победу из поражения. Но как только мы добрались до дому, он приложил палец к губам и опустил левое веко:

– И все-таки маме мы ничего не скажем.

Глава пятая

Я помирился с Мэгги и восстановил отношения с ней, за что потом имел все основания благодарить свою маму. Консультируясь с ней по поводу наиболее подходящих средств для искупления своей вины, я получил от нее совет потратить свой субботний пенс на то, что больше всего нравилось моему другу Мэгги, которую я предал. Я, соответственно, купил за полпенса в «Лаки Гранте» мятного драже в полоску, несколько цветных переводных картинок и пришел с этими подарками в ее дом на дальнем конце железнодорожной линии.

Она сидела у мерклого огня в маленькой, с каменным полом, темной кухне, где пахло мылом. У нее болело горло, и она обмотала шею шерстяным чулком, заколов его булавкой. Возможно, из-за этого она встретила меня кротко, так кротко, что я расплакался в приступе раскаяния. За эту слабость Мэгги мягко упрекнула меня словами, которые я так и не забыл и в которых было столько горькой правды, что я должен воспроизвести их буквально:

– Ох, Лори, мальчуган, ты ужасный плакса. Чуть что – твой слезный мешок уже наготове.

Матери Мэгги, к моему большому облегчению, дома не было, поскольку я ее не переносил, и не только потому, что она изводила Мэгги, но и потому, что, называя меня «лапочкой» и прочими ласковыми словами, что было, как я понимал, чистым притворством, она старалась своими коварными вопросами выпытать у меня хоть что-то про нашу семью – вроде того, ладит ли моя мама с отцом, сколько она заплатила за новую шляпку и почему мы ели рыбу в пятницу.

Весь тот день мы с Мэгги сидели за деревянным столом и, посасывая черно-белые шарики мятного драже, переводили цветные картинки на руки. Дабы скрепить возвращение нашей дружбы, я дал Мэгги кулон, который, по моим словам, вылечит ее горло. На самом деле это была маленькая серебряная медаль Святого Христофора¹⁶, размером и формой с шестипенсовик, но, поскольку я не решился сказать, что она имеет отношение к религии, я назвал ее талисманом. Мэгги, которая любила талисманы, была в восторге и, когда мы прощались, все заверяла меня, что мы снова друзья.

Несмотря на наши взаимные обеты, в ту зиму я редко видел Мэгги. Мой бедный друг, она никогда не была свободна. Тем не менее, сидя за домашним заданием, я с удовлетворением слышал краем уха разговоры родителей о том, что для Мэгги готовится нечто хорошее, отчего ей станет только лучше.

По мере того как наша жизнь улучшалась, отец все чаще стал настаивать, чтобы мама подыскала кого-нибудь себе в помощь по дому. Ему никогда не нравилось наблюдать, как она что-то чистит или подметает, хотя, должен признаться, сам он редко предлагал свою помощь в таких начинаниях. Но маме, в чем я абсолютно убежден, несмотря на кажущуюся абсурдность такого утверждения, нравились домашние заботы, и она испытывала глубокое удовлетворение оттого, что в доме все чисто, все блестит и все на своих местах. Она была «домовитой» – так это называется у шотландцев, и я хорошо помню, как в те дни, когда она мыла полы в кухне и кладовой, мне приходилось снимать обувь и ступать в чулках по расстеленным газетам. Прежде она отвергала предложения отца, но теперь два обстоятельства повлияли на ее настрой: для игры на новом пианино требовалось беречь руки, а Мэгги, которой исполнилось уже четырнадцать лет, в конце месяца оканчивала школу.

У матери было чуткое сердце. Она жалела Мэгги и любила ее. Теперь она высказала предложение отцу, которое он немедленно одобрил, а мне выпала роль посредника, когда мама сказала:

– Лори, дорогой, когда увидишь Мэгги, скажи ей, что я хочу поговорить с ее матерью.

¹⁶ *Святой Христофор* – мученик, почитаемый католиками и православными, но не протестантами.

На следующий день, когда Мэгги остановилась у нашего дома во время обеденного перерыва, чтобы сказать, что ее мать заглянет в субботу вечером, мама воспользовалась случаем поговорить с ней. Естественно, я не присутствовал на собеседовании, но выражение лица Мэгги, когда она уходила от нас, было гордым и счастливым. В школе в тот же день она вела себя совсем по-другому, была полна самоуважения и чувства собственного превосходства, когда, остановившись, чтобы послать мне улыбку, сказала своим одноклассникам, которые не знали гнета этих бесконечных бидонов с молоком, что она будет у нас служанкой, со своей маленькой спальней наверху, получит новое платье и хороший заработок.

Затем наступила суббота. Во второй половине дня, по еженедельному обычаю, мама надела свой лучший, серый с голубоватым отливом, костюм и, взяв меня за руку, отправилась в деревню, как всегда с самым дружеским и открытым выражением лица, что, разумеется, было полной противоположностью манере ее мужа. В таких ситуациях отец и в самом деле вел себя по отношению к местной публике непозволительно. Полагаю, что он был чем-то, неизвестным мне, сильно оскорблен в прежние трудные дни в Роузбэнке, а отец был не из тех, кто легко прощает обиду. Мама была другой, доброжелательной по отношению ко всему миру, не принимающей во внимание чью-то неприязнь, готовой дружить, и она всегда стремилась пригласить «ранимость» отца, развеять предрассудки и смягчить враждебность. Эти субботние выходы, якобы ради того, чтобы сделать необходимые покупки, имели другую цель, и во время нашей прогулки мама, полная готовности здороваться со встречными и отвечать на приветствия, в сияющей атмосфере добросердечия поддерживала оживленный разговор со мной на всевозможные темы, таким образом создавая у местных впечатление того, сколь сильны наши социальные инстинкты.

В этот конкретный день она провела очень приятные полчаса у мисс Тодд, хозяйки галантерейной лавки, выбирая для Мэгги темное платье, а также новую пару чулок и домашнюю обувь. После этого она от души поболтала с Полли Грант, которая не преминула спросить о моем кузене Теренсе, а затем, выйдя из бакалейной лавки, мама ответила на самый настоящий поклон от миссис Дати, пожилой жены деревенского врача. Обстоятельства сами шли навстречу маме. И это еще не все. Когда мы повернули к дому, перед нами, торопливо перековыляя на нашу сторону дороги, встал Пин Рэнкин:

– У вас найдется минута, миссис Кэрролл?

Естественно, у мамы было сколько угодно минут. Пин, холостяк, всегда был застенчив с женщинами. Он сделал быстрый вдох, что, я знал, является прелюдией к продолжительной речи, такой же запинаящейся, какая, без сомнения, омрачала его проповеди.

– У вас талантливый мальчик, мэм. Некоторые из его сочинений выдающиеся. Я читаю их классу. Но я хочу поговорить с вами о другом. Дело вот в чем. Леди Мейкл организует для детского дома благотворительный концерт, который состоится в деревенском зале пятого числа следующего месяца, и я подумал... мы подумали, не согласитесь ли вы сыграть на фортепиано. Я... мы были бы вам премного обязаны и благодарны, если бы вы пошли нам навстречу.

Я быстро взглянул на маму. Она покраснела. Ответила она не сразу.

– Ой, мама! – воскликнул я. – Ты ведь так прекрасно играешь.

– Да, – сказала она тихим голосом. – Я согласна.

По дороге домой мама, обычно такая разговорчивая, оставалась совершенно безмолвной. Однако по ее молчанию было понятно, насколько дорого ей это общественное признание, которого так долго пришлось ждать.

На кухне отец заваривал в печи какой-то травяной чай. Его простуда, по-видимому, не совсем прошла, и он взялся самостоятельно лечиться отваром. Выглядел он больным и был далеко не в лучшем настроении. Когда мама поделилась с ним своими грандиозными новостями, он молча уставился на нее. Было видно, что он собирается швырнуть это драгоценное приглашение в лицо обитателям деревни.

– Естественно, ты послала их к черту.

– Нет, Конор, – твердо сказала мама, покачав головой. – Это хорошее дело. Это значит, что они принимают нас наконец.

– Они обратились к тебе только потому, что ты им нужна.

Но мама заранее знала, что с ним будет непросто. Она была полна решимости настоять на своем. Парируя все его аргументы, она убедила отца. Он в конце концов уступил и даже загорелся этой идеей. Понимая, что за этим стоит леди Мейкл, он был склонен, с тщеславием бывшего покорителя сердец, приписать это приглашение впечатлению, которое на нее произвел, результату той незабываемой встречи.

– Понимаешь, сынок, – заговорщицки кивнул он, – она нас не забыла.

Эта отцовская предрасположенность к шутке, похоже, наложила отпечаток на новый образ нашей жизни. У нас все ладилось в этом мире. Отец процветал, мама должна была сыграть на концерте, меня похвалил Пин за маленькие сочинения, которые он задавал на выходные, и в довершение всего в деревне к нам действительно начали хорошо относиться. Какой я счастливый мальчик и какое сияющее будущее ждет меня!

В тот вечер, когда мы сидели у камина, каждый занятый своим делом, у парадной двери зазвонил колокольчик. Редкий для нас звук. Поглощенный поиском знаний в «Энциклопедии Пирса», я поднял голову и с тревогой подумал, кто это ломится в наш маленький замок. Но мать, занятая вязанием, просто сказала:

– Это мать Мэгги. Беги, Лори, попроси ее войти.

Я пошел открыть дверь и сразу вернулся.

– Она говорит, что ей лучше не заходить.

Мама удивилась, но, свернув свое вязанье и воткнув в него спицы, тут же встала. Я прошел за ней полпути к двери. Я уже заподозрил что-то нехорошее, но был совершенно не готов услышать крик, полный ожесточения или даже злобы:

– Вы не получите мою Мэгги!

Казалось, мама ошеломлена.

– Если речь о том, чтобы немного больше денег... то я вполне согласна.

– Нет в мире таких денег, чтобы купить мою Мэгги!

Она была пьяна? Нет. Вглядываясь в темноту, я увидел лицо, искаженное яростью и ненавистью. Даже не буду пытаться воспроизвести те нелепые, полные яда оскорбления, которые прозвучали в адрес моей мамы. Когда я впервые задумался над историей своего детства, я поклялся ни о ком не писать плохо. Но мать Мэгги была тем несчастным созданием, женщиной, столь отравленной своими горестями, что в ней не осталось ничего, кроме ненависти. Мэгги всегда была ее рабочей лошадкой, на ком она вымещала свои неизбытые обиды, Мэгги была живым, в обносках, свидетелем дурного обращения со стороны матери, которая и мысли не могла допустить, что дочь уйдет от нее ради другой, более счастливой и достойной жизни. Маму теперь колотило от новой тирады этой женщины, которая после слов «ты и твои папистские медальки» швырнула что-то в нашу сторону – это был маленький серебряный кружок, который ударился об пол и покатился к моим ногам. Талисман на счастье, который я дал Мэгги. Подняв его, я увидел, что отец молча прошел вперед, все еще держа газету «Геральд», которая каким-то образом соответствовала состоянию подчеркнутого спокойствия, исходившего от него.

– Уважаемая... – заговорил он сдержанно, без вражды, однако ледяным тоном. – Хватит, вы все сказали. Мы любим вашу дочь. Все, что мы сделали или собирались сделать, было продиктовано самыми добрыми намерениями. Но поскольку вы так явно нас не любите и не доверяете нам, мы можем только уступить вам. А теперь, пожалуйста, уходите.

Она молчала. Она ожидала оскорблений и была готова к ним, но никак не к этой достойной сдержанности. Прежде чем она пришла в себя, отец спокойно закрыл дверь.

Как я восхищался отцом в тот момент! Зная его вспыльчивость, его способность становиться порой надменно-презрительным и ироничным, я вполне мог ожидать, что он сведет этот инцидент к вульгарной перебранке. И все же мы были непривычно молчаливы весь тот вечер. С точки зрения мамы, отец был явно не в себе, о чем говорило то, что он закурил сигарету. Он, вообще-то, не курил – у него не было такой потребности, или, может быть, он дорожил видом своих красивых зубов и не хотел, чтобы они потускнели, но в редкие минуты стресса он затягивался «Митчеллом спешал № 1». И теперь, неумело выпуская дым, прищутив из-за него один глаз, а другим время от времени ободряюще поглядывая на маму, он пытался успокоить себя и ее. На следующий день слухи о неприятностях у Мэгги достигли игровой площадки перед школой, и краем глаза я не мог не заметить ее мучителей, собравшихся в кружок. Но Мэгги, хотя и раздосадованная, держалась твердо и была готова дать сдачи любому. После уроков она подождала меня и, взяв за руку, пошла со мной по дороге к дому.

– В любом случае мы остаемся друзьями, Лори. И на днях я приду и буду помогать твой маме.

Но мама все еще была расстроена. Ей не хотелось репетировать перед концертом. Однако вечером в последний день того месяца, приготовив ужин, она, ожидая возвращения отца, села за пианино. Я привычно стоял у окна, но был настолько погружен в свои мысли, что свисток отцовского поезда дошел до меня как из другого мира. Я уже начал смутно осознавать, что отец слишком долго идет со станции, когда услышал знакомый ежевечерний стук во входную дверь. Мама тут же перестала играть и пошла встретить отца. Когда я снова глянул на улицу, там были почти сумерки. Внезапно, в боковое окно, я увидел, как двое мужчин медленно идут по дороге. Прижавшись вплотную к стеклу и вытирая его, запотевающее от моего дыхания, я узнал Джима, станционного смотрителя, и стрелочника, который дежурил на шлагбауме. Еле передвигаясь, в затылок друг за другом, они, опустив головы, что-то несли. Какую-то длинную доску, прикрытую одеялом? Поначалу я не понял, что это, но впечатление от чего-то длинного и провисающего и от медленного движения тех, кто это нес, было таким зловещим, что я вдруг ужасно испугался. Я побежал сказать об увиденном отцу. Он стоял в прихожей возле мамы, не сняв ни шляпы, ни пальто. Лицо его было белым от шока. Голосом, который я не узнал, он говорил маме:

– Видимо, ее нога попала в стрелку, а поезд идет так медленно. Но, Грейс... – его голос прервался, – ты бы видела бедняжку, когда мы ее подняли.

Со страшным криком мама закрыла лицо руками.

Я онемел от ужаса, однако боль пришла позже, а тогда я лишь понял, что Мэгги навсегда покончила с молочными бидонами.

Глава шестая

Каким же печальным и смутным и, главное, каким непредвиденным был тот период времени. Даже теперь, извлекая его из памяти, я все еще не могу без боли представлять произошедшее. Разумеется, никто не мог бы обвинить маму в смерти Мэгги. В ту же ночь отец вернулся с фонарем к железнодорожному переезду и обнаружил застрявший в стрелке между рельсами каблук, оторванный от ботинка Мэгги. Мой бедный друг; пойманная в ловушку этих тисков, она явно изо всех сил пыталась высвободиться. В ответ на запрос о происшествии прокурор дал ясно понять, что, если бы Мэгги захотела убить себя, она не стала бы совать ногу в стрелку, чтобы потом пытаться выдернуть ее. Знал и я, судя по последним, полным надежды словам Мэгги, сказанным мне, что мысль о самоубийстве никогда не приходила ей в голову. И все же, несмотря на это, деревня отвергла очевидность несчастного случая в пользу более ужасной альтернативы, и Мэгги, возвеличенная трагедией, стала мученицей, а мы – виновниками ее гибели.

Тема эта игралась с вариациями. Когда мы сидели за ужином, отец, с горечью сообщая о последних сплетнях, не стал нас щадить. Если бы мы не встряли со своими ложными обещаниями между любящей матерью и ее единственным ребенком, если бы не морочили ей голову иллюзорными надеждами, если бы «оставили бедную девочку в покое», она была бы теперь жива и счастлива. И почему это только нам, единственным из всех, кто живет в деревне, понадобилась прислуга!

Мать, которая теперь целыми днями не решалась выйти из дому и во время этого ужина почти не притронулась к еде, стиснула руки:

– Нам придется уехать, Конор.

– Уехать? – Отец перестал есть.

– Да. Подальше от этого несчастного Арденкейпла. Ты ведь всегда этого хотел.

– Как это! – Брови отца опасно взлетели. – Чтобы я убежал! Удрал, как кролик! Что ты обо мне думаешь? С Арденкейплом все в полном порядке. Мне нравится это место и окрестности. А теперь тем более ничто не заставит меня уехать. Кроме того... – он говорил медленно, с намеком, – не забывай, что ты должна выступить на концерте.

– Что?! – заплакала мама, содрогнувшись от одной мысли о своем выступлении. – Я не собираюсь ни на какой концерт, ни за что, ни за что!

– Соберись, Грейс.

– Нет, нет! Я этого не перенесу!

– Ты должна.

– Я не способна на это. Я сломаюсь.

– Ты не сломаешься.

– Но, Конор... быть там, перед ними всеми, одной...

– Ты будешь не одна. Я буду с тобой. И Лоуренс будет. Разве ты не понимаешь, любимая, – нахмурился он, глядя на нее, – если ты не выступишь, это станет явным признанием нашей вины. В том, что случилось с Мэгги, мы совершенно не виноваты. Поэтому мы должны пойти все вместе, должны постоять за себя и показать, что нам плевать с высокой башни на их разговоры.

Меня уже трясло от того, что нас ждет, от чего-то, вдруг протянувшего ко мне свои ледяные руки. Но пока, как и мама, я пребывал в растерянности, отец смотрел на нас как бы издалека – спокойный и полный решимости.

– Вот увидите, – сказал он, словно разговаривая сам с собой. – Да, вы сами увидите...

В день концерта отец вернулся домой на более раннем поезде. Он нес под мышкой длинную картонную коробку, содержимое которой стало мне очевидным, когда в половине шестого

мама медленно, почти неохотно, спустилась по лестнице, – она была прекрасна, но, боже, страшно бледна, в новом синем шелковом платье, с низким декольте и плиссированной юбкой.

– Отлично, – твердо сказал отец, внимательно оглядев ее. – Как раз к цвету твоих глаз.

– Оно красивое, Кон, – тихо сказала мама, – и, пожалуй, стоило его купить. Но я так нервничаю.

– Напрасно, любимая, – так же непререкаемо сказал отец.

Затем, к моему изумлению – поскольку никогда прежде я не видел в доме таких вещей, зная, что мой отец трезвенник и редко когда позволяет себе бокал пива со своими клиентами, – он вынул из коробки плоскую бутылку с надписью на этикетке «Мартель. Бренди» и тремя звездочками. Осторожно, как будто отмеряя лекарство, он налил в стакан приличную порцию, не без того, чтобы вдруг щедро плеснуть мимо, а затем протянул его маме.

– Нет, Кон, нет.

– Выпей, – неумолимо сказал отец. – Ты как заново родишься.

Пока мама колебалась, раздался стук лошадиных копыт и дребезжание кеба, подъезжающего к нашим воротам. Вздвогнув от этих звуков, она лихорадочно схватила стакан и, пока я, широко открыв глаза, смотрел на нее, опустошила его одним глотком, едва не поперхнувшись.

Внутри кеба было темно, и это принесло временное облегчение. Я сидел на краю сиденья, с прямой спиной, в своем воскресном костюме с накрахмаленным воротником. Отец тоже оделся во все лучшее, а его усы были подровнены и подкручены, так что кончики боевито загибались вверх. По крайней мере, мы смело демонстрировали свою готовность к тому, что ждало нас впереди. И внезапно, когда красный огонь из кузницы осветил кеб, я увидел, как мама потянулась к отцу и сжала его руку:

– Теперь я не боюсь, Кон. Мне тепло, и я чувствую себя сильной. Я знаю, что у меня все получится.

Отец тихо рассмеялся – да, к моему полному изумлению, этот мужчина действительно рассмеялся.

– Разве я тебе не говорил, любимая?

– Да, Кон, дорогой. – Голос матери звучал странно. – Только... Я чувствую... я хочу, чтобы ты поцеловал меня.

Неужели эта женщина тоже сошла с ума? К моему ужасу и стыду, не обращая внимания на меня и на пропасть, разверстую впереди, они заключили друг друга в тесные объятия, после чего мама глубоко и удовлетворенно вздохнула.

Успокаивало и то, что ее благополучно довели до задней двери, куда входили выступающие, затем отец взял меня за руку, и мы пошли к главному входу. Зал был полон, сзади люди уже стояли, но в первом ряду, сразу перед сценой, были оставлены места для родственников тех, кто выступал. Туда и направился отец, высоко подняв голову, так высоко, что, хотя все его видели, он мог никого не узнавать. Однако, несмотря на эту стратегическую осанку, он не упускал из виду толпу в конце зала, состоящую в основном из молодых людей, потому что шепнул мне на ухо:

– Зеваки из Ливенфорда... жди проблем.

Наш приход был четко рассчитан по времени. Едва мы сели, как леди Мейкл суетливо выскочила на сцену и объявила о начале концерта, коротко объяснив, в чем его цель, и попросив зрителей быть внимательными к артистам.

– Эти хорошие люди, – сказала она напоследок, – выступают перед вами бесплатно по самой достойной причине. Я хочу, чтобы вы приветствовали их всех *без исключения*.

Услышав эти столь значимые слова, отец повернулся ко мне с довольным видом и пробормотал:

– Это для нас, мой мальчик. Она явно поймала мой взгляд. Вот увидишь, с мамой все будет в порядке.

К сожалению, в то время как просьба ее светлости была сдержанно встречена основной массой народу, с последних рядов раздались нарочитые аплодисменты, и, когда леди Мейкл ушла, кто-то взорвал надутый бумажный пакет. Громкий хлопок был лишь отчасти заглушен нанятым аккомпаниатором, который, открывая концерт, начал тарабанить «Землю надежды и славы»¹⁷.

Затем появился первый певец – высокий, худой молодой человек, в болтающемся на нем костюме, явно с чужого плеча. Встреченный насмешливыми криками одобрения с задних рядов, он нервно запел «Тору»¹⁸.

Говори, говори, говори со мной, Тора,
И опять со мной говори.

Успеха молодой человек не имел. Ему громко посоветовали прополоскать горло, принять ванну, вернуть одолженный костюм и, наконец, отправиться домой к Торе и сунуть ее в мешок.

Далее вышел скрипач, который, в расстройстве оттого, что его часто перебивали, призывая не дергать кота за хвост, боролся с «Грезой»¹⁹. К этому моменту отец стал беспокойно ерзать на своем стуле. Холодное отношение к маме со стороны жителей деревни, чего он опасался, было несравнимо с тем, что могла бы учинить эта буйная толпа, состоящая, как стало ясно, из подмастерьев судоверфи в Ливенфорде, которые были известными нарушителями общественного порядка. Состояние отца передалось мне, и, поскольку шум в зале не утихал, нервы мои настолько напряглись, что у меня стала трястись голова. Меня пробило потом, и я сидел, дрожа и переживая за свою бедную любимую маму, которая, несомненно, расплатится, потому что я знал, что из всех вещей она выбрала для исполнения сложную классическую пьесу – «Море» Дебюсси. Трудно было подобрать что-то менее подходящее для данного момента – теперь унижения не миновать. Трудно было найти что-то хуже.

Но теперь мама уже была там, на сцене. Дрожь моя прекратилась – я просто окаменел. Мама казалась такой маленькой на той широкой площадке и такой на удивление молодой и красивой, что мои страхи только усилились. Просто лакомый кусочек, брошенный на съедение львам! Ее встретили шквалом свиста, и кто-то прокричал какие-то слова, заставившие отца ошетиниться. Он сидел прямо, с суровым взглядом. Я опустил глаза, не смея посмотреть на маму, но когда поднял их, то увидел, что она уже села за рояль и, полуобернувшись к публике, дружески помахала в сторону последних рядов. Боже мой! Что с ней случилось? Она была совсем не похожа на мою маму – не обращая внимания на свистки и шиканье, она улыбалась своим мучителям. Я сжался на своем месте в ожидании первого слабого всплеска «La Mer», который уничтожил бы ее, однако, уронив руки на клавиши, она вдруг поразила меня браваурной темой одного из маршей Суза в исполнении духового оркестра «Бессес» – это был любимый отцом марш под названием «Вашингтон пост»²⁰.

Не сон ли это? По-видимому, нет, потому что, когда марш закончился, мама, не оставиваясь, не обращая внимания на аплодисменты и даже упредив кого-то, заоравшего «Еще давай!», отважно набросилась на другую зажигательную мелодию, из репертуара знаменитого оркестра волынщиков горной пехоты, – популярного «Северного петушка»²¹. Если первый

¹⁷ «Земля надежды и славы» («Land of Hope and Glory») – английская патриотическая песня, претендующая на статус гимна Англии.

¹⁸ «Тора» («Thora») – популярная английская лирическая баллада начала XX в.

¹⁹ «Греза» (нем. «Träumerei») – знаменитая пьеса Роберта Шумана.

²⁰ Марш «Вашингтон пост» написан в 1889 г. американским композитором и дирижером Джоном Филипом Сузой (1854–1932), известным как «король маршей».

²¹ «Северный петушок» («Cock o' the North») – знаменитый военный марш начала XIX в.

номер пришелся по вкусу представителям Ливенфорда, то этот абсолютно обезоружил их. Она не исполнила и половины песни, как все затянули:

Волынщик Финлейтер, волынщик Финлейтер,
Наигрывал «Северного петушка»!

Потолок еще вибрировал от последних куплетов, когда зал взорвался очередными аплодисментами, топотом тяжелых ботинок и повторными криками «Еще, еще!». Теперь мама совсем разошлась. Она без колебаний пустилась играть то, что я бы назвал попури, а точнее, импровизацией, поскольку она играла в основном на слух, – старые шотландские песни: «Вы, берега и холмы»²², «Порывы листвы»²³, «Через море к острову Скай», закончив местной популярнейшей песней «Цветущие берега озера Ломонд». Эффект был потрясающим, даже самые равнодушные среди публики, кого я считал нашими врагами, были покорены, они аплодировали в такт, кивали и подпевали, подхваченные волной прекрасной мелодии, полной возвышенных чувств и патриотизма.

Я сиял от гордости, отбив себе ладони в знак восхищения своей чудесной мамой, которая, презрев высокое искусство, спасла всех нас.

А зрителям хотелось еще. Даже когда мама встала из-за рояля, ее не отпустили. Должно быть, кто-то невидимый, на крыльях, дал ей знак уступить. Что же теперь она исполнит? Ответ пришел быстро, и казалось, что ее глаза нашли нас. Она взяла первые аккорды песни «Далеко от земли» Мура, отдавая дань не старым, а новым своим привязанностям. И вдобавок она запела, спокойно и уверенно, как будто сидя дома за пианино. Я почти не дышал, слыша, как звучит ее чистый прекрасный голос в абсолютной тишине внимающего зала.

Отец, откинувшись назад и покручивая усы, со странной восторженной улыбкой не отрываясь смотрел на маму, как будто едва верил собственным глазам. И когда наконец, поклонившись на прощание, мама покинула сцену, он резко поднялся и, демонстрируя каждым своим движением, что вечернее действо для него закончено, взял меня за воротник и повел по проходу из зала.

Нам не пришлось долго ждать маму. Она поспешно спустилась по ступенькам заднего крыльца, в пальто, с белой шалью, накинутой на голову, и побежала прямо к нам. Отец обнял ее и поднял.

– Грейси, Грейси... – пробормотал он ей на ухо. – Я знал, что в тебе это есть.

– Ой, мама! – Я прыгал от восторга. – Ты была великолепна!

Мама перевела дыхание:

– Это была ужасная сентиментальная каша, но мне показалось – только это им и понравится.

– Им понравилось, мама! – крикнул я.

– Лучше не бывает, – промурлыкал отец.

– Я не хотела продолжать, но леди Мейкл попросила.

– Вот! – сказал отец, довольно щелкнув языком. – Я знал, что Китовый Ус будет на нашей стороне. Но что тебя толкнуло на это в самом начале? Это она подала идею?

– Нет.

– А кто тогда?

Мать лукаво взглянула на него:

– Должно быть, твой мистер Мартель.

²² «Вы, берега и холмы» («Ye Banks and Braes») – песня на стихи шотландского поэта Роберта Бёрнса, написанные в 1791 г.: «Ye banks and braes o' bonie Doon, / How can ye bloom sae fresh and fair?» – «Вы, берега и холмы, реки Дун, / Почему вы так прекрасны и свежи весной?».

²³ «Порывы листвы» («Green Grow the Rashes, O») – песня на стихи Р. Бёрнса.

И мы все втроем смеемся как сумасшедшие. Какая радость, какое счастье! Какой триумф Кэрроллов!

– О, не стоит так, Кон, – вдруг сказала мама. – Подумай о бедной Мэгги. Знаешь, когда я играла, почему-то в глубине души я чувствовала, что делаю это для нее.

Мы возвращались вместе под сияющей луной; мама и отец, рука об руку, не прекращали ни на секунду свой бесконечный разговор, но я не испытывал ни ревности, ни одиночества, потому что мама своей свободной рукой нашла мою и устроила ее в кармане своего пальто. Моя рука уютно покоилась в ее руке всю дорогу до дому.

Как ярко светила луна, какой она была ясной и высокой! И наша звезда, счастливая звезда Кэрроллов, тоже поднималась, да, поднималась снова, ясная и высокая, чтобы там, выше, слиться с нашей Галактикой.

Глава седьмая

На следующий день было воскресенье, и, возможно в порыве благодарения, мы отправились на мессу в Дринтон, вернулись домой к позднему и довольно необычному обеду из жареной утки, за которым последовал фирменный мамин десерт – засахаренная вишня под взбитыми сливками. В короткий зимний день, после того как отец вздремнул, мама предложила прогуляться по берегу. Вчерашняя золотистая аура все еще не рассеялась вокруг мамы, в дополнение к какой-то счастливой истоме, с которой она, словно вспоминая о чем-то волшебном, посматривала на отца, что я так или иначе связывал с его вниманием к ней. Я уже начинал ощущать сильное физическое притяжение, существовавшее между моими родителями, которое, преодолев все возможные препятствия, связало их, выросших чуть ли не в разных мирах, и которое теперь превратилось в тесный чуткий союз. В более поздние годы, когда я стал читать о других детствах, которые так часто омрачались постоянными ссорами родителей, супружеской несовместимостью и взаимной ненавистью, я еще яснее осознал, что брак мамы и отца был на редкость удачен. Притом что иногда случались внезапные небольшие бури, чему виной была вспыльчивость отца, они длились не более нескольких часов и заканчивались спонтанным примирением. И всегда между родителями, даже в безмолвии, было взаимопонимание, отчего наш дом был для меня безопасным, теплым местом в этом подчас враждебном мире.

Это чувство было ощутимо в воздухе, когда, побывав в Джеддес-Пойнте, находившемся в стороне, противоположной Роузбэнку – этого места мама всегда избегала по причинам, о которых я смутно догадывался, – мы медленно возвращались сквозь мягкий туман, собирающийся на мертвом, пустынном эстуарии. Воздух был так недвижим, что всхлипы прилива доносились как слабое эхо от какой-нибудь лежащей вдалеке морской раковины. Мама маячила впереди, в компании Дарки, кошки с фермы Снодграсса, которая часто увязывалась следом за нами на этих прогулках. Мы с отцом отстали на несколько шагов, сражаясь в «блинчики», и, снисходительно предупрежденные мамой, что слишком громко кричим, считали подскоки гладко отполированных бесконечными приливами плоских камешков, взлетающих над спокойной серой поверхностью воды.

Внезапно, после своего броска, отец, кашлянув, содрогнулся, выпрямился и приложил платок к лицу. Я удивленно поднял глаза и, желая быть услышанным, громко воскликнул:

– У папы кровь идет из носа!

Мама обернулась. Я видел, как она изменилась в лице. Я также видел, что отец прикрывает платком рот. Мама была уже рядом.

– Конор, опять твой кашель.

– Ничего особенного. – Он поднес носовой платок к глазам и почти бессмысленно устался на маленькое алое пятно. – Всего лишь пятнышко. Я, должно быть, просто напрягся.

– Но ты кашлянул, – обеспокоенная, настаивала она. – Ты должен сесть и передохнуть.

– Ничего особенного. Просто стрельнуло в бок. – В доказательство он тихонько и ненатурально кашлянул. – Видишь, все прошло.

Мама не ответила. Она сжала губы скорее решительно, чем покорно, и, когда мы снова двинулись в путь, в ее глазах, хотя время от времени она и посматривала на отца, больше не было истомы, и до самого нашего дома она хранила молчание.

Этот кашель отца, возникающий время от времени, особенно в сырую погоду, и с ходу отклоняемый им как «намеки на бронхит» или даже с какой-то гордостью собственника называемый «моей склонностью к бронхиту», как если бы это было исключительно его особенностью, – кашель, для избавления от которого отец пользовался травяными настоями собственного приготовления, стал, несмотря на частые протесты мамы, восприниматься в семье как естественное явление. Я ничего не думал об этом, и связь кашля с тем до смешного малень-

ким малиновым пятном на платке отца показалась мне настолько нелепой или, по крайней мере, настолько несущественной, что сразу же, как только мы вернулись домой, я, насвистывая, отправился с Дарки на ферму за молоком – теперь эта вечерняя обязанность легла на меня.

В коровнике еще шла дойка, и, примерно минут двадцать ожидая, пока струя теплого молока, пенясь, наполнит ведро, я забавлялся выходками кошки, которая ловила и вылизывала молочные брызги, падавшие на каменные плиты. Возвращаясь не спеша по дороге с кувшином молока, я был совершенно не готов увидеть возле нашего дома двуколку доктора Дати; потрясение было тем сильнее, что на ней уже светили фонари – они казались еще более яркими из-за мглы сумерек и, словно характеризую личность деревенского врача, смотрели на меня как два огромных глаза.

Этот доктор Дати казался огромным, и не только мне одному. Пожилой человек, которому было семьдесят, свирепый, с красным лицом, неизменно одетый в вельветовые бриджи, блестящие коричневые гетры и мешковатую вельветовую куртку, он, как горный бык, вваливался в комнату больного и точно таким же манером покидал ее, объявляя свой диагноз трубным голосом, сопоставимым с гудком на скале Эрскин, предупреждающим корабли о тумане, а ежели я попадал ему в руки, то часто от такого рыканья моя щека орошалась его слюной. По всем канонам романтической беллетристики под этим грубым внешним видом должно было скрываться золотое сердце. Однако это было не так. Доктор был груб и подчас жесток со своими пациентами. Ему было безразлично, что о нем думали, и, в общем, его считали «твердым орешком». У него была своя ферма на окраине, где он выращивал свиней породы седлбек, и от него часто слышали, что он предпочитает их своим пациентам. Если у него и была слабость, помимо ежедневной бутылки виски, служившей ему эликсиром, поскольку с каждым глотком он, казалось, только креп, – то это были хорошенькие женщины. Он тискал доярок на всех фермах, которые посещал, – они хихикали, делая вид, что сопротивляются, он же прижимал какую-нибудь из них коленом к стене. Хотя по отношению к моей маме он не столь открыто проявлял свои наклонности, так как прекрасно знал, где надо остановиться, я всегда чувствовал, что он равнодушен к ней.

Я, конечно, не осмелился войти в дом, пока там находился этот громила. Я и так достаточно от него пострадал. Подкравшись с теневой стороны к окну, я осторожно заглянул в освещенную комнату.

Отец лежал на диване, голый по пояс, а доктор Дати, прижав ухо к короткой деревянной трубке, наклонился над ним. Никогда еще я не видел, чтобы мой отважный родитель был в таком невыгодном положении, в таком подчинении – зависимый и беззащитный. Зрелище было невыносимым, и, отвернувшись, я скользнул вниз и сел спиной к стене, поддерживая между коленями теплый кувшин молока.

Прошло довольно много времени, прежде чем парадная дверь открылась и на пороге появились доктор Дати и моя мама – их силуэты были отчетливо видны в свете, падающем из прихожей. Я пригнулся, насколько можно, и тут же загремел голос доктора:

– Пошлите в аптеку за лекарством. Вам нужен рыбий жир и эль. Но помните, женщина, – он схватил руку мамы и, подчеркивая значимость своих слов, стал укоризненно и одновременно ласково ее потряхивать, словно пытался повернуть маму к себе, – главное – вытащить его отсюда. Разве я не говорил вам, что в Роузбэнке надо держаться подальше от берега? Никому не на пользу жить в этой сырости на грязном заиленном побережье. Кроме того, речные туманы – настоящий яд для человека с такими легкими.

Я не совсем понял это высказывание, я был слишком занят наблюдением за тем, чтобы доктор Дати благополучно покинул наш дом и сел в свою двуколку. И мама, когда я вошел, не была расположена останавливаться на этой теме и не была настроена на разговоры. Взяв у меня кувшин с молоком, она тихо занялась приготовлением чая.

В течение двух дней отец оставался дома, беспокойный и больной, а затем вернулся к работе. И хотя я заметил начавшиеся и неутрачивающие разговоры, да и споры, между моими родителями, то, если и обращал на них внимание, считал, что они связаны с дрожжевым бизнесом. Все вроде вернулось к счастливой нормальности. Отец, энергичный как всегда, вскоре типичным жестом отправил в мусорную корзину свою бутылку с лекарственным напитком и сосуд с рыбьим жиром и элем. Для меня было абсолютной новостью, когда в один из апрельских дней мама, одетая во все лучшее и явно вернувшаяся из какой-то из поездки, отвела меня – я только что пришел из школы – в сторону и сообщила:

– Лоуренс, в следующем месяце мы уезжаем из этого дома и переезжаем в Ардфиллан. – И, увидев мой испуганный взгляд, добавила торопливо и успокаивающе: – Там такое приятное место, дорогой. На самом деле все к лучшему.

Эта внезапная перспектива перемен, всегда сулящая ребенку одни тревоги, привела меня в полное замешательство. Еще никогда Арденкейпл не казался мне таким привлекательным. Теперь я прекрасно чувствовал себя в школе, где учился на два класса старше. Мне нравился Пин, и я подружился с несколькими мальчиками. В прошлую субботу я поймал две пятнистые форели в ручье Гилстон. И мы должны были бросить все это, когда у нас все так хорошо.

Мама, должно быть, прочитала это на моем лице, потому что она обняла меня, доверительно улыбаясь, дабы я понял, что все происходящее ее устраивает и очень ей нравится.

– Ардфиллан – прекрасный город, дорогой. И наша новая квартира находится высоко на холме и недалеко от вересковых болот. Я уверена, тебе понравится.

Глава восьмая

Переезд дался нам на удивление легко, и, как мама и обещала, наш новый дом оказался большим шагом вперед по сравнению с маленькой виллой, которую мы покинули. Городок Ардфиллан покорила меня своим великолепием. Раскинувшийся между холмом и широко разлившимся устьем, похожим на почти открытый морской простор, Ардфиллан был модным местечком, курортом для избранных, с небольшим причалом, набережной и эстрадой для оркестра, но в то же время жилым городком, популярным как у «зажиточных» бизнесменов, которые пользовались быстрым железнодорожным сообщением с Уинтоном, так и у других резидентов, равного или еще большего достатка, которые ушли на пенсию. Склоны холма были усеяны большими особняками, с причудливыми фасадами, обширными огороженными садами вокруг и с видами на выбор в сторону Гэрлоха или Кайлс-оф-Бьюта, причем дома эти никоим образом не вторгались в широко раскинувшуюся внизу вересковую пустошь, которая тянулась за Глен-Фруин до берегов Лох-Ломонда. Много превосходных магазинов, частная библиотека с выдачей книг на дом и две самые элитные школы в Шотландии: одна, Бичфилд, для мальчиков, другая, Святой Анны, для девочек. Вскоре я стал также различать благовоспитанную манеру речи, скорее, акцент, характерный для этого общества и абсолютно обязательный для вступления в его состав. Короче говоря, тут существовал определенный «тон», который, хотя и проигнорированный отцом, сразу понравился маме и поначалу устроил меня.

Терраса Принца Альберта, представлявшая собой ряд плотно прилегающих друг к другу строений вдоль улицы, весьма удачно разместилась прямо на холме среди великолепных особняков и, пусть слегка поблекшая, по-прежнему сохраняла почти всю свою прежнюю элегантность. Она была представлена несколькими коттеджами-мезонетами²⁴, сложенными из красиво обработанного камня. Широкие эркеры, два удобных парадных входа с портиками, полугеоргианский и отчасти викторианский стили – каждый дом на несколько вместительных квартир. В этих мезонетах были прекрасно спланированные комнаты с высокими потолками, перед входом – садик с декоративными растениями, а с задней стороны – длинная уединенная лужайка, обнесенная стеной. Естественно, мы не могли позволить себе такое великолепие, но этажом выше, в квартире номер семь, свежепокрашенной, с новыми обоями, нам было вполне удобно, и отсюда мы глядели в будущее, представлявшееся благоприятным, особенно для моего отца, исполненного оптимизма благодаря смене обстановки и животворному воздуху, который он, стоя по утрам и вечерам у открытого окна, глубоко вдыхал во время дыхательных упражнений. И все же меня беспокоило что-то совершенно новое в выражении лица моей матери, когда она посреди своих домашних хлопот вдруг замирала в какой-то растерянности, которую, поймав мой взгляд, она тут же изгоняла улыбкой.

В Ардфиллане не было никакой индальгенции на то, чтобы пренебрегать воскресной мессой. В нижнем городе мы пользовались двойным преимуществом – могли посещать церковь Святой Марии и ее приходскую школу на Клей-стрит. Кроме того, первым человеком, заглянувшим к нам однажды днем и абсолютно очаровавшим нас своим веселым дружелюбием, был молодой приходский священник, отец Макдональд, горец из Инвернессшира, выпускник отличного колледжа Блэра в Абердине. Ангус Макдональд был тем человеком, который, как сказал мой отец, понравился бы даже самому упертому оранжисту²⁵. Мама, все еще немного побаивающаяся священников, которые ей никогда не попадались в ближайших кварталах, не могла поверить своим глазам, когда после чая он встал и, к моему безудержному восторгу,

²⁴ *Мезонет* (фр. *maisonette*) – буквально: «маленький дом». Это, как правило, двухэтажные квартиры, которые, помимо гостиной, имеют также несколько спален, минимум две ванные, небольшую оранжерею, собственный дворик.

²⁵ *Оранжист* – член Ирландской ультрапротестантской партии.

исполнил хайланд флинг²⁶. Со временем, по его тактичному настоянию, брак моих родителей, благодаря некоторым техническим поправкам, в которых я почти ничего не понимал, был освящен, что примирило мою семью с церковной ортодоксией. Более того, никоим образом не осуждая неадекватность моих собственных религиозных знаний, которые были радикальными, он предположил, что по крайней мере в настоящее время я должен посещать приходскую школу. Так что на следующей после его визита неделе я был отправлен в школу Святой Марии.

Должен признаться, что, хотя я был удовлетворен переходом в третий класс, где моя учительница, сестра Маргарет Мэри, похоже, готова была сделать из меня что-то особенное, я скучал по своему старому другу Пину и в целом был не в восторге от моей новой школы. Чтобы добраться до Клей-стрит, надо было идти по проселочной дороге, которая вела вниз по склону к самой бедной части нижнего города, по сути рабочему району Ардфиллана. Здесь, на узкой улочке, напротив многоквартирного здания, находились огороженные участки прихода Святой Марии – церкви, школы и пресвитерия²⁷; все строения из грубого кирпича, практичные, но явно указывающие на ограниченность средств. Также и среди школьников преобладал этот печальный знак нищеты. Почти все они были из бедных, ближайших к церкви окрестностей, многие из них были детьми презираемых ирландских «огородников», которые приехали для работы на картофельных полях Клайдсайда, а некоторые из учеников ходили, увы, чуть ли не в лохмотьях. Они играли в странные игры, которых я не понимал, самопальные игры обездоленных, для чего использовались твердые кусочки глины, жестяные банки, стены, изрисованные мелом, шарики из бумаги и ткани, связанные между собой бечевкой. Правда заключалась в том, что состоятельные католики Ардфиллана отправляли своих детей в другие школы, в Ливенфордскую академию или в Джесмит-колледж в Уинтоне, хотя, конечно, отнюдь не в Бичфилд, учебное заведение, которое оставалось в высшей степени и исключительно для аристократии. Итак, несмотря на доброжелательность, которую я там встретил, общее впечатление от школы Святой Марии было гнетущим. В результате мною овладело чувство социальной неполноценности – это была своего рода духовная рана, порожденная моей религией. Когда я сделал попытку объяснить на сей предмет с мамой, у которой были другие, более серьезные заботы, она попыталась утешить меня:

– Это тебе на пользу, дорогой, и это ненадолго. Ты пока должен просто принять, как оно есть.

Моим самым большим крестом был недостаток общения. Я использую данное выражение, так как в то время изучал высказывания Святых Отцов. Каким бы ни было их моральное превосходство, мама не могла переступить через себя, чтобы позволить мне дружбу с мальчиками, которые, как сказал отец, ходят с голым задом. И поэтому, чувствуя, что я ни рыба ни мясо, я был обречен проводить свободное время в скуке и одиночестве.

Единственным утешением, хотя оно лишь усиливало мою неудовлетворенность, являлись прогулки через весь холм к прекрасным зеленым спортивным полям школы Бичфилд. Надежно спрятавшись в зеленой изгороди боярышника, я со жгучей завистью и тоской наблюдал за игроками. Здесь было все, о чем я только мечтал: зеленые, четко размеченные поля с белыми стойками ворот, где игроки – многие из них такие же маленькие, как я, – в форме разнообразных цветов, от алого до ярко-синего, били тут и там по мячу, бегали, пасовали, обводили друг друга и сталкивались в манере, ожидаемой от мальчиков, которые поедут в Феттс, Гленальмонд, Лоретто²⁸ или даже, как некоторые, в лучшие государственные школы Англии. Когда это зрелище становилось невыносимым, я в печали поворачивал к дому, так яростно

²⁶ *Хайланд флинг* – один из четырех старейших традиционных шотландских танцев.

²⁷ *Пресвитерий* – дом католического священника.

²⁸ *Феттс, Гленальмонд, Лоретто* – привилегированные учебные заведения Шотландии.

заколачивая воображаемые голы, что отбивал себя пальцы на ногах о бордюр тротуара, после чего мама сокрушалась, что я порчу свои новые ботинки.

Однажды в субботу в самом безлюдном конце террасы на дороге напротив сада номер семь я развлекался стрельбой по воображаемым мишеням. Внезапно один из камней вылетел куда-то вбок из моей руки и, описав смертельную параболу, врезался во фронтальное окно мезонета, над которым мы жили. Ужаснувшись ледяному звону разбитого стекла, я бросился наверх к маме.

– Ты должен немедленно пойти и извиниться. Эту леди зовут мисс Гревилль. Скажи, что ты заплатишь за стекло. Постой, дай-ка я вытру тебе лицо. – Когда я спускался, она сказала мне вслед: – Не забывай о хороших манерах.

Волнуясь, я нажал на звонок у входной двери мисс Гревилль. Краем глаза я увидел большую зазубренную дыру в окне. Пожилая горничная в аккуратном чепце и рабочей форме открыла мне. У нее были седые волосы и, как мне показалось, осуждающее выражение лица.

– Подожди здесь, – сказала она, когда я объяснил причину своего визита.

Пока я стоял в коридоре, меня поразил удивительный вид двух скрещенных весел на стене: оба подрезаны, лопасти окрашены в ярко-синий цвет. В глаза бросались и другие необычные предметы, в частности пара рапир, но в этот момент вернулась служанка и провела меня в гостиную, где мисс Гревилль, стоящая у рокового окна, повернулась, чтобы хорошенько рассмотреть меня. Я, в свою очередь, смотрел на нее.

Она показалась мне высокой, солидной женщиной, сорока пяти лет, большегрудой и чрезвычайно прямой. У нее было бледное полное лицо, которое выглядело еще полнее в обрамлении рассыпанных по накладным плечам светлых пышных волос и тугого, жесткого накрахмаленного воротника, скрепленного булавкой. Одета она была просто, даже строго: серая юбка и белая блузка, на которую свисала тонкая цепочка пенсне. Она выглядела непреложной леди, каковой и являлась, а также школьной учительницей, каковой и была в прошлом. Я слышал, как мама говорила, что мисс Гревилль когда-то преподавала в женской школе Святой Анны; я бы ее испугался, однако в ее манере общения не было ни надменности, ни претенциозности, что отделяли бы ее от презренных реалий жизни, одной из которых был я.

– Я к вашим услугам, мисс, это я разбил окно.

– Похоже что так. – У нее был высокий, ясный голос, ее акцент не был характерен для Ардфиллана, скорее, в ее случае данный акцент сам несколько пострадал. – По крайней мере, с вашей стороны это благородно – прийти по собственной воле.

Я молча принял комплимент, которого не заслуживал.

– Как это случилось?

– Извольте, мисс: я занимался метанием.

– Юный Кэрролл... полагаю, что вы – юный Кэрролл... не обращайтесь ко мне, как к девушке в чайной лавке. Можете называть меня «мисс Гревилль», по крайней мере для начала нашего знакомства. Что вы метали?

– Камни, мисс... Гревилль.

– Камни! Боже мой, какая дурная привычка! Я бы не возражала, если бы вы разбили мое окно мячом. Но камни! Зачем?

– Если вам интересно, – ответил я, начиная оживать, – я довольно метко бросаю камни. Я могу, если хотите, попасть в любую цель на той стороне дороги.

– Правда? – воскликнула она с интересом.

– Показать?

– Нет, только не камнями... – Она сделала паузу. – Разве вы никогда не бросали мяч?

– Нет, мисс Гревилль. У меня его нет.

Она внимательно, чуть ли не с жалостью посмотрела на меня, затем, предложив мне сесть, вышла. Я сел на край стула и, пока ее не было, огляделся. Большая комната озадачивала

и даже пугала меня. Странные образцы мебели, которых я никогда не видел прежде, – не темные и блестящие под политурой, как наш лучший комплект красного дерева, но в основном выцветшего медового цвета стулья с сиденьями из цветных нитей, инкрустированный комод с китайским узором в желтых и золотых тонах, мягкий серый ковер с блеклым розоватым рисунком в центре. Цветы на подоконниках, а также в большой голубой вазе на длинном и плоском пианино, совсем не похожем на наше.

Едва мой взгляд остановился на каминной полке, на которой стояло много маленьких серебряных чашек, как вернулась мисс Гревиль.

– Можете взять это. – Я встал, и она протянула мне мяч. – У него своя история, которая, вероятно, вас не заинтересует. Он принадлежал моему брату.

– Того, с веслами? – вдохновляясь, спросил я.

– Нет-нет. Не гребца. Другого, младшего.

Она рассеянно улыбнулась, и хотя эту улыбку нельзя было назвать недоброй, она, к моему сожалению, была явно отрешенной. Я совсем не хотел сюда приходить, но, странное дело, теперь мне не хотелось уходить отсюда. Эти загадочные ссылки на Боба мокрого и Боба, предположительно, сухого²⁹ заинтриговали меня. Я сделал попытку продолжить разговор:

– Разве вашему младшему брату не нужен мяч?

– Теперь ему ничего не нужно, – бесстрастно ответила она. – Он был убит два года назад под Спирон-Коп³⁰.

– О мисс Гревиль! – воскликнул я с сочувствием, на которое только был способен. – Он отдал свою жизнь за короля и страну!

Она бросила на меня взгляд, полный невыразимого отвращения:

– Не будьте столь пафосны, маленький резонер, иначе наше знакомство, доселе короткое и беспрецедентное, немедленно прекратится. – И она позвонила в колокольчик, дабы меня препроводили до дверей.

Мама, хотя и огорчилась тем, что я забыл сказать про оплату разбитого стекла, с интересом и удовольствием выслушала мой отчет о визите, из которого я тактично удалил последний пассаж. С тех пор как мы сюда переехали, она проявляла вежливый интерес к нашей соседке. Однако мяч при ближайшем рассмотрении оказался довольно бесполезным. Жесткий, кожаный, с залатанным швом, он не подпрыгивал и во всех отношениях никак не подходил для моих обычных игр. В тот же вечер я показал его отцу.

– Это мяч для крикета, – пояснил он. – И им играли.

– Она рассказала Лоуренсу, что у мяча есть история, – заинтересованно пояснила мама.

– Несомненно, – иронически улыбнулся ей отец. – По словам жилищного агента, у этой дамы полно историй. Некогда они были очень важными людьми. Большое поместье недалеко от Челтенхема. Но ее папан почти все профукал, и она занялась преподаванием. Сначала в колледже Челтенхема, затем в Святой Анне. Но теперь она все это бросила.

– Интересно почему? – задумалась мама.

Улыбка отца стала шире.

– Склонен полагать, – пробормотал он в своей любимой манере, – что в некоторых своих проявлениях она слегка чу-да-ко-ва-та.

Он произнес последнее слово на мелодию популярной песни тех дней, которая начиналась так: «Ой, не чу-да-ко-ва-та ли она?»

– Чепуха! – воскликнула мама. – Это просто досужие сплетни. Она мне кажется прекрасной леди, и она была очень любезна с Лори. В следующий раз, когда мы встретимся, я хочу поклониться ей и поблагодарить.

²⁹ Игра слов: Боб – мужское имя; wet bob – гребец, буквально – мокрый боб.

³⁰ Сражение в период Второй англо-бурской войны за холм Спирон-Коп 24 января 1900 г.

Таким образом, разбитое окно послужило началом нашего знаменательного знакомства с мисс Гревиль.

Глава девятая

Во всех отношениях корректная и даже сдержанная благодарность, которую мама выразила мисс Гревилль через несколько дней, была принята более чем благосклонно. Наша соседка, живущая одна и, по-видимому, имеющая ограниченный круг друзей, была расположена к новым знакомствам. Она посетила нас и оставила свою визитную карточку. Десять дней спустя мама нанесла ответный визит и была приглашена на послеобеденный чай, после какого мероприятия она вернулась, сияя от удовольствия и с кучей интереснейших новостей.

За ужином она доложила отцу и мне, что мисс Амелия Гревилль очаровательна и очень-очень леди – мама сделала акцент на этом слове. Ее мебель и серебро, которые достались ей из семейного дома недалеко от Челтенхема, были прекрасны, – и вправду, все в доме говорило об изысканном вкусе. Она была художественной натурой, любила музыку, играла на виолончели и надеялась составить дуэт с мамой. Увлеченная ботаникой, она показала замечательный альбом засушенных полевых цветов. Она часто ездила в Швейцарию – полазить по горам. Ее родители умерли. У нее было два брата, получившие образование в Итоне, один из которых жив и в настоящее время занимается фермерством в Кении. Она посещала церковь Святого Иуды, заведение, принадлежащее Высокой англиканской церкви³¹, и поэтому хорошо относилась к католикам. Она была самой... Вдруг, встретив взгляд отца, наклонившегося к ней с более, чем обычно, насмешливой снисходительностью, мама запнулась.

– Да, – она слегка покраснела, – она была добра ко мне. Но совершенно независимо от этого мне она нравится. И знаешь, Кон, мне не хватает подруги, особенно когда ты весь день отсутствуешь.

– Тогда я рад, что ты ее нашла, – великодушно сказал отец, – только не... ну, не заходи слишком далеко, девочка моя.

Я был совершенно не согласен с отцом. Мисс Гревилль произвела на меня сильное впечатление. В самом деле, я взял за правило, вернувшись из своей задрипанной школы, слоняться возле палисадника перед домом в надежде, которая пока что оказывалась иллюзорной, привлечь ее внимание. Теперь же, подумав о тех удивительных синих веслах, я сказал в раздумье:

– Должно быть, приятно иметь брата из такой школы, как Итон, даже если ты сам туда не ходил.

Отец рассмеялся, как будто нашел что-то занимательное в моем замечании или в том, как я его произнес:

– Не волнуйся, мой мальчик. Святая Мария – всего лишь временная остановка. Все идет к тому, что довольно скоро у тебя на руках будут козыри.

В эти дни он был в отличном настроении. Другой воздух, несомненно, устраивал его. Он наслаждался экспрессом – роскошным поездом между Уинтоном и Ардфилланом, на который у него был сезонный билет в первом классе. Он набирал высоту в этом мире, безошибочное обещание процветания подразумевалось в его словах, в его манере, в его элегантном, ухоженном облике. Он, казалось, полностью оправился после того странного происшествия на берегу Арденкейпла и не забывал напоминать нам, что счастливый результат был в основном достигнут благодаря его собственным усилиям. Когда мы покидали Арденкейпл, доктор Дати дал ему записку для представления своему коллеге в Ардфиллане. Это был доктор Ивен, худой, сутулый, мягко ступающий пожилой человек, с висящими щеками и клочком седой бороды, всегда аккуратно подстриженной до определенной длины. Его манера тихо, почти на цыпочках, приближаться, его серьезный вид создали ему репутацию человека исключительно профессионального, и он слыл умным.

³¹ *Высокая церковь* – направление в англиканстве, тяготеющее к католицизму.

Поначалу отцу он не понравился. «У него лицо как у покойника», – сообщил он маме и после этого, хотя ему были рекомендованы периодические проверки состояния здоровья, свел свои визиты в дом врача к минимуму, а с недавних пор и вовсе их прекратил. Мама подозревала, что вышло какое-то недоразумение, что отец, как она выразилась, «поцапался» с доктором Ивеном. С другой стороны, он в принципе всегда недолюбливал врачей; его насмешливое и скептическое отношение к данной профессии уже давно стало у нас притчей во языцех. «Жженный сахар и вода», – издевался он, качая головой, снисходительный к нашей доверчивости, наблюдая за мамой, которая твердо верила в укрепляющие средства и регулярно назначала их мне, отмеряя столовую ложку моего «лекарства» от Парриша³².

Он верил в природу и в естественные восстановительные силы человеческого организма. Таким образом, соблюдая режим и правила гигиены, рекомендованные доктором Дати, чьи суровые слова, вероятно потрясшие отца, все еще сохраняли какой-то вес, он следил за собственным здоровьем. Он разработал сложную систему дыхательных упражнений и придерживался диеты, богатой маслом и сливками, в придачу к крепкому пиву «Гиннесс», хотя всегда был весьма умеренным потребителем подобных напитков. Он спал с открытым окном на шерстяном одеяле, накрывшись таким же, носил шерстяное нижнее белье на голое тело и красные каучуковые стельки в ботинках.

Итак, все было хорошо с отцом и с нами. Однако мало-помалу до меня стало доходить, что мама не совсем удовлетворена отцовской интерпретацией его самочувствия. Как это стало для меня очевидным? Возможно, по ее дополнительной заботе о нем, но, скорее всего, по тем моментам отрешенности, когда она внезапно прерывала свои дела, как будто застигнутая какой-то тревогой, омрачавшей ее счастье, и по ее лицу пробегали тени и отражения скрытых мыслей, доступных лишь тому, кто мог интуитивно и абсолютно достоверно все истолковать и прояснить, даже ее самые смутные чувства.

Однажды вечером, когда я сидел за столом, выполняя домашнее задание, мама, вязавшая у камина, сказала, словно размышляя вслух и с той небрежностью, которая не могла меня обмануть:

– Конор, дорогой, не пора ли тебе снова сходить к доктору Ивену?

Отец, читавший в удобном кресле «Ивнинг таймс», похоже, сделал вид, что ее не услышал. Затем он медленно опустил газету и поверх ее пристально посмотрел на маму:

– Что, прости?

Теперь уже занервничав, мама повторила свое замечание, которое, несомненно, отец услышал. Он изучал ее.

– Есть ли какая-то очевидная причина, по которой я должен пойти к твоему доктору Ивену?

– Нет, Конор. Тем не менее тебе советовали время от времени обследоваться. А ты не был у него целую вечность.

– Верно, – крайне назидательно сказал отец. – Однако, поскольку я не выношу этого человека и всегда чувствовал себя хуже после визита к нему, чем до того, я решил, что будет правильней и разумней держаться от него подальше. Иными словами – я не доверяю ему.

– Это довольно странно. Он в городе на отличном счету, и у него первоклассная практика.

– Да, он возится с бездельниками-богачами и, разумеется, угождает им. Возможно, у него и есть практика, только он не практик.

– Как ты можешь такое говорить?

– Потому что я так считаю! – стал горячиться отец. – Представь, он действительно хотел, чтобы я на три месяца послал работу куда подальше и отправился в долгий морской круиз на

³² *Парриш* («Parrish's Chemical Food») – известный в Англии бренд производителя лекарственных пищевых добавок, т. н. БАДов.

Мадейру. В настоящий морской круиз! Это, может быть, годится для старых леди, о которых он печется, но бесполезно для меня.

Отец замолчал с таким видом, будто сказал слишком много, и попытался возобновить свое чтение. Но мама упредила его.

– Хорошо, – невозмутимо сказала она, продолжая вязать как ни в чем не бывало. – Согласна, что Ивен дотошен. Но ведь есть и другие врачи. И я думаю, тебе следует найти того, кто тебя устроит.

– Но с какой стати?

– Ну... чтобы проверить твоё состояние. В конце концов, ты ведь не совсем избавился от кашля.

Отец насупился и неуверенно посмотрел на нее:

– Это ерунда. Я уже сколько раз говорил тебе, что у меня всегда был такой кашель.

– И все же... – Мама демонстративно отложила свое вязанье и наклонилась к нему. – Разве в Уинтоне нет врача, который мог бы тебя посмотреть?

Наступила тишина. Я устался в свою книгу и ожидал возмущения или, по крайней мере, возражения, полного достоинства и великодушия. Вместо этого отец уступил, хотя и неохотно:

– Ну, девочка моя, если тебе так хочется... Рядом с моим офисом есть один парень. Медицинский сотрудник страховой компании «Каледония». Иногда я сталкиваюсь с ним. Такой же, как ты, настырный. Ради тебя я мог бы как-нибудь заглянуть к нему.

Не обращая внимания на то, что отец тонко поддел ее, мама тихо вздохнула с облегчением, пусть сдержанным, но все-таки различимым.

– Тогда сходи к нему, Конор. Почему бы не завтра?

Отец, снова обратившись к газете, никак не отреагировал на это.

На следующий вечер, когда он вернулся, мама, как обычно, встретила его у дверей. Когда они вместе вошли в гостиную, я не заметил ничего необычного в облике отца, разве что он, похоже, устал. Но часто, когда на него наваливалось много дел, он выглядел усталым. Во время ужина, который был вкуснее обычного, с любимой отцом тушеной говядиной, у него был хороший аппетит. Ни намёка на разговор, случившийся накануне. Поужинав, я пересел к окну с книгой. Только тогда я услышал, как мама тихо сказала:

– Ну что?

Отец ответил не сразу. А когда заговорил, голос его прозвучал спокойно, даже задумчиво:

– Да, я был у него. Доктор Макмиллан. Очень достойная личность. Похоже, ты была права, Грейс. По-видимому, одно из моих легких слегка поражено.

– Поражено? Но чем?

– Ну... в общем... – Отец не хотел этого говорить, но был вынужден. – Немного туберкулезом.

– О Кон... это серьезно?

– Только не волнуйся. В конце концов, тут ничего необычного. Простой недуг. Он у многих людей. И они справляются с ним.

Я услышал долгий тревожный мамин выдох. Затем она медленно потянулась к отцу и сжала его руку:

– По крайней мере, теперь нам ясна ситуация. Сейчас сделаешь перерыв и действительно поправишься. Поезжай в санаторий или отправляйся в морской круиз, как посоветовал доктор Ивен.

– Да, я поеду. По-видимому, в санаторий. Пулей полечу. Обещаю. Но не сейчас.

– Конор! Это надо сделать немедленно.

– Нет.

– Немедленно!

– Это невозможно, Грейс. Просто-напросто не получится. Каждый пенни у нас вложен в дрожжи. Я даже кредит взял в банке. И сейчас держу в голове все свои планы.

– При чем тут деньги в такой момент?

– Дело не в деньгах. У меня все в порядке. Но бизнес молодой, ты же знаешь, что это дело одного человека, и есть кое-что крайне важное с «Ю. Ди. Эл.», то есть с компанией «Юнайтед дистиллерс лимитед», из-за чего я *должен* быть там, я просто не могу все это бросить, следующие несколько месяцев будут решающими.

– О Кон... Кон... Я не понимаю, при чем тут «Ю. Ди. Эл». Ты и твоё здоровье важнее.

– Послушай, Грейс, мы должны быть разумными. Ради тебя и мальчика, а также ради меня. «Ю. Ди. Эл.» – это одна из крупнейших компаний в стране, и они явно, да, определенно заинтересованы в моих дрожжах, я уверен, что смогу добиться слияния наших компаний в течение трех, возможно даже, двух месяцев. Это недолго, девочка. Потом я буду свободен, чтобы взять до шести, даже девяти месяцев на поправку. А сейчас я могу сократить часы работы, брать время от времени дополнительный выходной. Я буду осторожен, крайне осторожен во всех отношениях. Я все это продумал в поезде по пути домой. Я сделаю все, что ты скажешь, кроме как выбросить то, над чем я трудился в поте лица, на что надеялся. Было бы безумием упустить теперь такой шанс в жизни.

В своем бурном объяснении они забыли обо мне. Я перехватил испуганный взгляд мамы. Ее глаза стали наполняться слезами. Я знал, что она проиграла и что отец будет поступать по-своему.

Но на сей раз мои симпатии были на его стороне. И тогда, и впоследствии я ни на минуту не сомневался в своем отце. Моя вера в его проницательность, рассудительность и неизбывную самоуверенность, подтвержденная множеством случаев, когда я видел, как он выходил из сложных ситуаций и пальцем не шевельнув, оставалась абсолютной и непоколебимой. Даже терпя поражения, он умел свести к минимуму их последствия, благодаря тому что находил их забавными или несущественными. Его две фразы «Предоставьте это мне» и «Я знаю, что делаю», произнесенные спокойно и уверенно, стали для меня пробными камнями триумфального успеха.

Мама больше не пела во время своих домашних дел. Я не понимал причины ее постоянного стресса. В состоянии вечной тревоги она искала утешения и поддержки в общении с полной сочувствия мисс Гревилль, нашей соседкой. Однако дни сменялись днями, и все шло по плану. Отец ничуть не выглядел больным. С лица его не сходил обычный румянец, глаза светились, и он не терял аппетита. Как отец и обещал, хотя никогда не затрагивал тему нездоровья, он заботился о себе, не выходил из дому в плохую погоду и избегал нагрузок в течение долгих выходных дней. Он все еще покашливал, тайком отхаркивая в маленькую фляжку, которую теперь носил для этой цели, но через некоторое время, всего-то лишь через пару недель, он по совету мисс Гревилль собирался в Швейцарию, чтобы там быстро восстановиться, – вопрос этот был однозначно согласован. Он по-прежнему упорно пользовал свои собственные травяные средства, периодически просил маму натирать ему грудь оливковым маслом, а однажды вечером вернулся из города со странным прибором, который доверительно представил нам как лечебный ингалятор. Устройство состояло из металлического контейнера со спиртовкой внизу и длинной резиновой трубки с мундштуком. Вода и специальная смесь трав, прилагаемые к прибору, были заправлены в контейнер, спиртовка зажжена, и когда зашипел горячий лечебный пар, отец честно его вдохнул. И это, и все остальное делалось с жизнеутверждающей уверенностью в выздоровлении, что выглядело бы смешно, если бы в свете последующих событий не оказалось столь трагичным.

Спустя годы, когда я задался вопросом о причинах такого явного безрассудства, за ответом не пришлось далеко ходить. Отец был амбициозным человеком, который постоянно рисковал. Он осознавал опасность отсрочки своего лечения, но был готов, по его собственным

словам, «пойти на риск» ради нас самих, поскольку его бизнес достиг ключевого этапа, когда в случае удачи отец занял бы действительно важную позицию, связанную, как впоследствии выяснилось, с его упоминанием «Ю. Ди. Эл.» – переписка с этой компанией для моего юного ума приобрела каббалистическое значение. Он был смел, но избыточный оптимизм его ирландского темперамента, стоящий за этой врожденной храбростью, обманул его, убедив, что азартная игра сулит выигрыш. Однако прежде всего его поведение действительно можно было объяснить странным и характерным проявлением самой этой болезни, что, как я узнал годы спустя, называлось *spes phthisica* – «надеждой туберкулезника», то есть ложной и настойчивой надеждой, вызываемой токсинами, образующимися при этой болезни, которые поражают нервную систему, создавая ложную иллюзию окончательного излечения и полного выздоровления.

Все это в значительной степени нес в себе отец, неизбежно, так или иначе, делясь со мной и мамой. Мы были совершенно не готовы к катастрофе, которая грянула вскоре.

Шла, насколько я помню, вторая неделя марта, и, вероятно, было около двух часов ночи, когда я проснулся. Через наплывающие туманы сна я испытывал смутное и ни с чем не сравнимое чувство, что меня зовет мама. Внезапно, когда я собирался перевернуться на другой бок, я услышал ее голос, очень громкий и такой пугающе требовательный, что я сразу сел:

– Лоуренс! Лоуренс! Иди сюда!

Я вскочил с постели. В моей комнате было темно, но, когда я открыл дверь, свет в коридоре был включен. Дверь в спальню отца была полуоткрыта, и мама снова позвала меня изнутри. Предчувствие какой-то страшной катастрофы сковало меня, не давая сделать и шага, но я двинулся вперед и вошел в комнату. Этого момента я никогда не забуду.

Отец лежал на боку, положив голову на край кровати. Он безостановочно кашлял, кашлял и кашлял, и с его губ хлестал пузырящийся алый ручей. Его лицо было землистого цвета. Мама стояла на коленях рядом с кроватью. Одной рукой она держала голову отца, другой с трудом удерживала большой белый таз от умывальника, наполовину заполненный алой пеной – я с ужасом понял, что это кровь. Пятна крови были везде – на скомканных простынях кровати, на маминой ночной рубашке, даже на ее руках и лице. Не изменяя позы и не отрывая глаз от отца, мама сказала мне тем же напряженным, страдальчески-повелительным голосом:

– Лори! Беги за доктором Ивеном. Сейчас же. Немедленно. Скорее, ради бога!

Я развернулся и побежал, не помня себя от шока. Забыв надеть, как полагается, фуфайку и брюки, на что у меня ушло бы не более полуминуты, я в одной ночной рубашке выбежал из дому на улицу. Босиком я понесся по тротуару, мое сердце стучало о ребра. Во тьме казалось, что я бегу с нечеловеческой скоростью, – еще никогда я не бегал так быстро. В конце Принц-Альберт-роуд я свернул на Кохун-Кресент, потом спустился на Виктория-стрит, где впереди, на полпути к эспланаде, увидел красный фонарь перед домом доктора Ивена. Квадратный декоративный фонарь с отчеканенным на нем гербом города – когда-то Ивен был провостом³³ Ардфиллана. Ни души вокруг. Молчание пустоты нарушалось только моим прерывистым дыханием, когда я все бежал и бежал, не обращая внимания на боль в ступнях от гравия... и оказавшись наконец на подъездной аллее к дому доктора и затем на ступенях его крыльца. Я долго и настойчиво нажимал на звонок, слыша, как звон разносится по всему дому. В течение нескольких томительных минут внутри было тихо, потом, когда я еще раз нажал звонок, наверху на лестнице зажегся свет. Вскоре дверь открылась. На пороге в халате стоял доктор.

Я думал, он будет сердиться, что его потревожили, поскольку из разговора моих родителей я знал, что он трудный человек. Что еще хуже – разве мой отец не поссорился с ним, не отказался от него, не перестал быть его пациентом? Прежде чем он открыл рот, я выдохнул:

– Пожалуйста, доктор Ивен, скорее в дом номер семь на террасе Принца Альберта! У отца ужасно идет кровь.

³³ Провост (шотл. provost) – мэр.

Да, предполагалось, что он выкажет раздражение, даже гнев, оттого что его вызывают среди ночи после тяжелого рабочего дня. Но вместо этого он сжал губы и в изумлении уставился на меня.

– Пожалуйста, идите к нам, сэр. Вы знаете моего отца, его фамилия Кэрролл. Остальное не важно. Просто идите.

Он все еще смотрел на меня.

– Сначала *ты* зайди, – сказал он. – На улице холодно.

Я последовал за ним.

– Отец сильно кашляет?

– О да, сэр, очень.

Он что-то пробормотал себе под нос.

Я сел в коридоре, а он поднялся вверх. Над вешалкой с зеркалом на стене была голова оленя, глядевшая на меня стеклянными неумолимыми глазами. Из другой комнаты раздавался медленный стук маятника часов.

Доктор не долго одевался. Когда он спустился, в его руках были домашние тапочки и шотландский дорожный плед. Он бросил их передо мной:

– Накройся.

Он смотрел, как я укутываюсь в плед. Холода я не чувствовал, но мои зубы стучали. Тапочки были старыми, но мне впору – доктор Ивен был маленьким, – и я вполне мог идти в них. Он поднял свой черный саквояж, стоявший у вешалки. Мы двинулись в путь.

По дороге в гору он время от времени молча посматривал на меня. Но когда мы приблизились к террасе, он неожиданно воскликнул:

– Ты, кажется, неплохой мальчик! Никогда не будь дураком.

Я не уловил смысла сказанного. Когда моя миссия завершилась, я почувствовал, что хромаю и у меня больше нет сил и что я могу только бояться этого возвращения в чудовищный кошмар нашего дома. Выбегая, я забыл закрыть дверь в нашу квартиру – она так и оставалась открытой. Мы вошли. Я не осмелился глянуть в комнату отца, но, когда доктор Ивен вошел туда, встреченный криком облегчения матери, я невольно повернул голову. Мама все еще стояла на коленях у кровати, все еще поддерживая отца, но таза, этого уже зафиксированного в моем сознании страшного пенистого символа незабываемого ужаса, не было.

Я проскользнул в свою комнату, сбросил плед и тапочки и забрался в постель. Я долго лежал, вздрагивая от случайных толчков и стуков снаружи, прислушиваясь к движениям по дому, с вкрапленными в них приглушенными голосами моей матери и доктора Ивена. Как же долго доктор оставался у нас! Я всем сердцем желал, чтобы мама пришла ко мне, прежде чем я засну, обняла и сказала, что все в порядке. А главное, чтобы похвалила меня за мой великолепный, чуть ли не на одном дыхании пробег. Но она не пришла.

Глава десятая

Маленький колесный пароход весело плюхал по освещенным солнцем волнам. Это был краснотрубый «Люси Эштон», курсировавший по заливу между Ардфилланом и Порт-Креганом. Пассажиры прогуливались по палубе, вдыхая сверкающий воздух, или кучковались, смеясь, болтая и слушая живую музыку немецкого квартета. Ниже, в пустынном салоне, обитом плюшем, с застоялым запахом табачного дыма, молча сидели лишь мы – то есть мисс О’Риордан и я. Поскольку я никогда прежде не видел эту женщину, то время от времени осмеливался оценивать ее взглядом искоса, хотя мне и мешал грубый край жесткого воротника, который полагался к моему лучшему костюму. Она была светло-рыжей, лет сорока пяти, с большими водянистыми глазами, острыми чертами лица и с намеком на бледные веснушки. Выражение ее взгляда, ее манеры и весь ее вид, казалось, создавали ощущение благочестивого смирения перед жизнью, полной самопожертвования и страданий. Я начал задаваться вопросом, почему моя судьба всегда должна зависеть от женщин, и в частности от такой святой женщины, как мисс О’Риордан, когда она нарушила молчание:

– Твой отец так болен, дорогой, и я не думаю, что тебе прилично быть там наверху с этим оркестриком. Кроме того, я не переносю качку. – Она сделала паузу. – Мы могли бы прочесть молитву, чтобы скоротать время. У тебя есть четки?

– Нет, мисс О’Риордан. У меня были, но они порвались.

– Тебе следует быть поосторожней со священными предметами, дорогой. Я дам тебе новые, когда мы доберемся до пресвитерия. Его преподобие освятит их для тебя.

– Спасибо, мисс О’Риордан.

Я стал смутно догадываться, что экономка дяди Саймона была еще святее, чем я опасался. Несмотря на то что пароход и так еле двигался, дабы угодить ей, я в конечном счете был вынужден поинтересоваться:

– Вам плохо, мисс О’Риордан?

– Плохо, дорогой? – Она наклонилась вперед, прикрывая глаза и прижимая руку к пояснице. – Всеблагий Бог знает, что я в полном порядке.

Поскольку она больше не открывала рта, у меня было время предаться довольно печальным размышлениям по поводу перемен в своей жизни. Неужели мне предстоит жить у священника? Да, это так. Страшная болезнь отца помирила его с братьями, самый младший из которых, Саймон Кэрролл, со всей решительностью заявил, что, если я проведу с ним по крайней мере несколько недель, это значительно облегчит положение моей матери, взявшей на себя обязанности медсестры. Хотя во время визитов дяди Саймона к отцу мне он очень нравился, теперь, глядя на мисс О’Риордан, чьи губы шевелились в молчаливой молитве, я уже начал было прикидывать свои довольно малопривлекательные перспективы на ближайшее будущее, когда толчок и скрип дали понять, что мы находимся у пирса Порт-Крегана.

Однако, когда мы высадились, Порт-Креган показался мне приятным местечком с интересными магазинами и интенсивным движением на набережной. Как и Ардфиллан на той стороне залива, он был построен на холме, а на вершине холма, куда мисс О’Риордан, прижав руку к своему заповедному месту на спине, взбиралась с чрезвычайной медлительностью, стояли церковь и дом пастора, оба маленькие, но приятные на вид, сложенные из серого известняка. Мы вошли в темный зал, облицованный дубом, пахнущий парафином и напольным лаком, а затем мисс О’Риордан, для начала восстановив дыхание с помощью серии продолжительных вдохов-выдохов, спросила осторожным шепотом, не хочу ли я «отлучиться», что, как я понял, означало посетить туалет. Получив отрицательный ответ, она отвела меня в гостиную. Это была большая комната с окнами в сад и хорошо освещенная эркерным окном, из которого

открывался захватывающий вид на гавань. Когда мы вошли, дядя Саймон сидел за складным бюро у дальней стены. Он встал, вышел навстречу и взял меня за руку.

Когда он улыбнулся, я сразу же понял, что он застенчив, и почувствовал, что он еще больше мне нравится. Он молчал, но все еще держал меня за руку, вопросительно глядя на мисс О'Риордан, которая выдала ему длинный и подробный отчет о нашем путешествии. Пока она говорила, у меня была возможность подробнее рассмотреть моего дядю. Из четырех братьев Кэрроллов двое были светлыми, двое темными. Саймон, самый младший, тогда ему было не более двадцати шести лет, был черноволосым, голубоглазым и таким высоким, что слегка сутулился, дабы не удариться головой о люстры, к тому же он был по-мальчишески, чуть ли не пугающе тонким в своей длинной сутане.

– А Конор? – спросил он вполголоса, когда она закончила.

Она не ответила, но многозначительно посмотрела на него поверх моей головы, поджала губы и, незаметно покачав головой, вышла из комнаты.

– Мисс О'Риордан принесет нам чай. Полагаю, что из-за морского воздуха у тебя разыгрался аппетит, – весело сказал дядя. Он посадил меня на один из двух старых и довольно потрепанных кожаных стульев, стоявших по обе стороны от камина, и вернулся к бюро. – Позволь мне закончить свои дела. Через минуту я буду с тобой.

Инстинктивно я чувствовал, что он дает нам обоим время прийти в себя. Конечно, для меня здесь были странные условия. Кроме стульев и складного бюро, на котором стояла большая бело-голубая статуя Мадонны, больше в комнате мебели почти не было, как не было и уюта. Черные, довольно потрепанные занавески, ковер, как и стулья, был сильно вытерт, как бы истоптанный за многие годы множеством ног. На каминной полке я увидел биретту³⁴ и длинный ряд из сложенных кучками пенсов. На одной стене висело распятие из черного дерева и слоновой кости. А на другой стене меня поразила большая гравюра длиннорядого полууголого волосатого старика, забравшегося на самый верх высокой каменной колонны.

– Он тебе нравится? – Дядя поднялся из-за бюро, с полуулыбкой наблюдая за мной.

– Кто это?

– Один из моих любимых святых.

– Но что он там делает?

– Ничего особенного. – Теперь дядя действительно улыбался. – Просто он необычный человек и святой.

В этот момент, всем своим видом выражая чрезвычайное усилие, мисс О'Риордан принесла черный лакированный поднос с чайными принадлежностями и большой тарелкой толсто нарезанных кусков хлеба с маслом. Хотя я привык к гораздо более качественному меню, я едва ли заметил отсутствие выпечки. Мои мысли были настолько заняты этим удивительным стариком на столпе, что, когда экономка вышла, я не выдержал:

– Как высоко он забрался, дядя, и сколько он там пробыл?

– На тридцать шесть кубитов³⁵, да еще на вершине горы. И просидел там тридцать лет. Это было так поразительно, что я подавился первым же куском хлеба с маслом.

– Тридцать лет! Но как же он ел?

– Он опускал корзину. Конечно, он много постился.

– А почему он не падал, когда спал? Я бы так точно упал.

– Ну, он был удивительным стариком. И вероятно, он мало спал. Возможно, его власяница заставляла его бодрствовать.

– Помилуйте, дядя. Власяница!

³⁴ Биретта – квадратная шапочка католического священника.

³⁵ Кубит (от лат. cubitus – локоть) – старинная английская мера длины, равная расстоянию от локтя до кончиков пальцев (примерно 45–50 см).

Он улыбнулся.

– Я не понимаю, зачем он это делал, – сказал я наконец.

– Послушай, Лоуренс... – (Я испытал спазм удовольствия, когда он назвал меня моим полным именем.) – Симеон жил давно, в дикой горной стране, среди диких племен. Как ты можешь себе представить, к нему ходили целые толпы. Он проповедовал им, часто часами, исцелял больных, был кем-то вроде судьи, творил чудеса и таким образом обратил в христианство великое множество людей.

Наступила тишина.

– Вот почему вы держите его в своей комнате?

Он покачал головой:

– Я узнал о нем, когда учился в колледже в Испании. И поскольку у меня было такое же имя, как у него, я чувствовал себя весьма польщенным. Стало быть, как ты понимаешь, это просто тщеславие с моей стороны.

Очарованный нашим разговором, я тепло посмотрел на дядю, который вместо ожидаемой болезненной темы об отце, чреватой слезами, поднял меня до редких исторических и интеллектуальных высот.

– Я хотел бы увидеть какое-нибудь чудо, дядя, – задумчиво сказал я.

– Они происходят каждый день, если мы только поищем их. А теперь налегай на хлеб с маслом. Сегодня у миссис Вителло выходной день, так что до завтрака у нас с едой будет не очень.

Я хотел остаться с этим заново открывшимся мне дядей для дальнейшего разговора о столпах, но он сказал, что должен пойти в церковь, чтобы выслушать исповеди, добавив, однако, чем лишь усилил мое ожидание, что завтра после мессы он будет свободен и покажет мне нечто интересное. Итак, вернувшись за подносом мисс О'Риордан велела мне следовать за ней. С удовлетворением убедившись, что мне не надо «отлучиться», она спустилась со мной по лестнице на кухню. Здесь она достала бутылку с этикеткой, изображающей огромную треску с открытой пастью.

– Я буду давать тебе эмульсию Пурди, дорогой. По столовой ложке три раза в день. Она очень полезна для груди.

Мисс О'Риордан медленно нацедила густую жидкость, которая, хотя и была хорошо замаскирована, отдавала жиром трески.

– Теперь, – сказала она, когда я сделал глоток, – давай посмотрим, что на тебе надето. – Пробоури указательным пальцем мою рубашку, она горестно воскликнула: – Как! Ты без фланели, дорогой? На голом теле должна быть фланель. Бог свидетель, мы не хотим, чтобы ты пошел по пути своего бедного отца. Я немедленно займусь этим.

Затем она отпустила меня, сказав пойти в сад и поиграть, но не простужаться и не портить одежду. Я вышел. Сад представлял собой квадрат зелени, ограниченный кустарником, в котором был маленький грот, где на подножии из морских раковин стояла большая статуя Богоматери в короне из звезд. По траве шла узкая бетонная дорожка прямо к боковой двери церкви. Мне хотелось пойти туда – поискать моего дядю, но я сдержался, понимая, что он сейчас сидит в своей маленькой душевной жаровне.

Я сунул руки в карманы, размышляя о самых разных интересных вещах по поводу этого человека на столпе и желая быть свидетелем многих чудес, которые он совершил. Какое прекрасное зрелище – чудеса, – и их тоже можно увидеть, если поискать. И хотя наступающие сумерки заставили меня затосковать по маме, я также подумал о том, что мог бы здесь очень хорошо провести время с дядей Саймоном, если бы только мисс О'Риордан оставила меня в покое.

Увы, как только городские часы пробили шесть, она появилась из обшарпанной двери трапезной и поманила меня.

На ужин она приготовила мне целую тарелку каши со стаканом молока вдобавок, дымящимся на кухонном столе. Сев напротив и наблюдая, как я прихлебываю молоко, запивая кашу, она, возможно, отметила на моем лице оттенок недовольства и сказала:

– Мы никогда не воротим нос от хорошей еды, дорогой. Мы живем здесь очень скромно.

– Скромно, мисс О’Риордан?

– Да, скромно, дорогой. Церковь погрязла в долгах. И твой дядя, бедная душа, убивает себя на службе, чтобы выплатить их.

– Но как может церковь оказаться в долгах?

– Из-за того, что ее перестроили, дорогой. Пятнадцать лет назад, когда я впервые приехала сюда. Я не буду называть имена, но один почтенный джентльмен задумал нечто такое, что оказалось ему не по карману.

– Но разве люди здесь не платят, мисс О’Риордан?

– Платят, дорогой? – воскликнула она с презрением, адресованным безымянной пастве. – Ты видел медяки на каминной полке твоего дяди? Вот как они платят. Пенс или полпенса, а иногда, Господи спаси и сохрани, даже фартинги³⁶. Дикари... Так что с этим погашением долга и с процентами, а также с тем, что он делает для благотворительности, едва ли этот бедный человек может позволить себе надеть приличную рубашку. Но он умный и хороший, и с Божьей помощью и с моей он это сделает.

Эти поразительные, хотя и безрадостные откровения привели к тому, что я доел кашу, не заметив, что в ней нет соли. Позже я обнаружил, что мисс О’Риордан была твердым сторонником бессолевой диеты, от которой, как она выразилась, легче почкам. Мы встали из-за стола.

– У меня теперь есть для тебя четки, дорогой, – доверительно сказала мисс О’Риордан. – Мы прочтем только Пять декад³⁷ в твоей комнате, а потом ты ляжешь спать.

Наверху мы опустились на колени в голой спальне, которая, казалось, источала аскетизм многих миссионеров, получавших здесь приют, уходивших и приходявших, странствовавших между Порт-Креганом и глубинной частью Африки.

– Мы возьмем «Пять печальных тайн»³⁸, – прошептала мисс О’Риордан. – И запомни: мы молимся за твоего бедного отца.

Она начала: «Первая печальная тайна: страдания Господа нашего в Саду...» И, поначалу беззвучно шевеля губами, я наконец включился в молитву. Несмотря на нашу истовость, я не думал об отце. Мне было жаль его. Я оплакивал его отчаянное состояние. Но эта страшная полуночная сцена, повторявшаяся как гротеск в моих снах, наложила табу на мысли об отце в дневное время, когда моя воля, или пусть даже то, что я за нее принимал, подчинялась мне. Вместо этого я думал о маме, и с тех пор и поныне ее лицо живо и зримо возникало передо мной. Я видел ее напряжение и печаль, смешанные с нежностью и теплом, когда она прощалась со мной этим утром. Я не думал ни о каком другом страдании, кроме как о ее. И хотя она просила меня быть мужественным, вдруг, пока я продолжал механически произносить слова молитвы, поток слез хлынул по моим щекам. Мне было все равно, что глаза экономки устремлены на меня, – от этого слезы лишь усилились. Наконец мы закончили молитву. Мисс О’Риордан медленно поднялась, все еще глядя на меня с... – может ли такое быть? – новым интересом и уважением.

³⁶ *Фартинг* – четверть пенса.

³⁷ *Пять декад* – пять наборов по десять малых бусин в составе традиционных католических четок (розария). По четкам читаются молитвы в определенном порядке, а также «размышления» о тайнах, соответствующих определенным евангельским событиям. Существует 4 вида тайн (по 5 каждого вида): радостные, светлые, скорбные и славные.

³⁸ Розарий можно читать не полностью, а по одному виду тайн в день. Согласно исторически сложившемуся порядку, по вторникам и пятницам читаются «5 скорбных тайн»: 1. Молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. 2. Бичевание Иисуса Христа. 3. Увенчание тернием. 4. Крестный путь Иисуса Христа. 5. Распятие и смерть Иисуса Христа.

– Перед Богом, дорогой, – сказала она торжественно, – ты хорошо молишься. Какое благочестие! Я обязательно расскажу его преподобию. Никогда я не видела, чтобы ребенок, перебирая четки, был так глубоко, до самого сердца растроган.

Я виновато покраснел. Но странным образом я почувствовал себя утешенным.

– Послушай, дорогой, – убежденно продолжала она, когда я разделся. – Вот я тут кое-что сшила для тебя. Твоим бедным легким будет теперь приятно и уютно.

Она вытащила что-то вроде нагрудных доспехов из красной фланели и закрепила это на мне тесемками вокруг шеи и спины. Мне было жарко и неудобно, но я уже был так измотан ее услугами, что у меня не было сил сопротивляться. Это моя власяница, с грустью подумал я, а мисс О’Риордан – мой столп.

Когда я прикрыл глаза, притворяясь, что сплю, однако сквозь неплотно сомкнутые веки продолжая осторожно наблюдать за мисс О’Риордан, она несколько секунд смотрела на меня. Затем она перекрестила меня вместе с кроватью и погасила газовую лампу. Внезапно в темноте я почувствовал прикосновение губ к своему лбу, но не мягких, теплых губ, к которым я привык, а сухих, жестких, странно непривычных губ. Тем не менее это был поцелуй – от мисс О’Риордан. Я услышал, как дверь тихо закрылась за ней.

Бедная мисс О’Риордан, разве я не должен поминать вас лишь добрым словом. Есть ли во всем мире что-либо тяжелее, чем быть подавленной, одинокой, страждущей, вечно в ипохондрии, старой девой-экономкой сорока пяти лет, с ежедневной итальянской уборщицей на подмогу в этом борющемся за выживание приходе? Похоже, остается только стать священником.

Глава одиннадцатая

Мое пребывание в Сент-Джозефе оказалось дольше, чем я предвидел, и хотя, в отличие от экономки, мой дядя не уделял мне чрезмерного внимания, я вскоре почувствовал, что ему приятно мое присутствие в доме и что наше общение, каким бы абсурдным оно ни казалось со стороны, скрашивало ему это особого рода, исключительно человеческое одиночество, навязанное его призванием, тем более что он не мог не заметить, как я начинаю привязываться к нему. Это было несложно. Простая доброжелательность, столь отличная от религиозности мисс О'Риордан, всегда привлекательна, и, несмотря на всю его самодисциплину, он был натугой мягкой, тонко чувствующей, что завоевало бы сердце любого ребенка.

Как и мой отец, он был от природы умен, с той же врожденной оригинальной индивидуальностью, каковой, как я вскоре убедился, не были наделены Небесами оба их брата, Бернар и Лео. В раннем возрасте его отправили в шотландский колледж в Вальядолиде в Старой Кастилии, где в течение семи лет он жил и с блеском учился. Испания воспитывала, формировала его, наполняла своими традициями и культурой. Он любил Испанию и искренне восхищался ее народом – я хорошо помню одну из его фраз: «Благородство мужчин, грация и чистота женщин». В темном одеянии, с черными густыми волосами, темноглазый³⁹ и смуглокожий, в сутане, ниспадающей с плеч, он действительно был похож на испанца, что вполне сознательно старался подчеркнуть с помощью разных маленьких уловок. И как часто он ностальгически рассказывал мне о своей счастливой жизни в Вальядолиде, прекрасном городе Сервантеса и Колумба, спасенном от мавров благодаря Санчо де Леону, вспоминая не только драматические события истории, но и более личные образы освещенных солнцем монастырей, белостенное здание учебного корпуса на фоне далеких охристых гор и сады колледжа, полные аромата апельсиновых деревьев, с беседкой, увитой виноградными лозами, где он проводил время полуденной сиесты и где, по его словам, чуть ли не прямо ему в рот падали маленькие медово-сладкие виноградины. Его назначение в затрапезный и нищий шотландский приход, в гущу простолоудинных разговоров и гул окрестных верфей казалось мне печальным изгнанием из рая.

Но дядя Саймон ничуть не роптал. Он чувствовал себя как дома в своем приходе, знал по именам всех детей и большинство пожилых женщин и, казалось, действительно получал удовольствие от исполнения множества приходских дел и обязанностей, по моему мнению скучных и утомительных, когда с шести утра он уже был на ногах, чтобы подготовиться к своей первой ранней мессе, и затем с головой уходил в дневные дела, зачастую не отпускаявшие его до поздней ночи. Поскольку я любил его общество и скучал по нему, когда он был в отъезде, то мне было досадно, что он служил всем и каждому, тем более что, помимо выполнения обычной рутины, он теперь каждую неделю на полдня отправлялся в Ардфиллан, чтобы проведать моего отца, – после этих визитов он возвращался с наигранной бодростью, которая не могла меня обмануть.

Я также не одобрял его готовности откликаться на каждое несчастье. Я чувствовал, что прихожане этим пользуются, каковое чувство решительно разделяла со мной мисс О'Риордан, которая особенно критически относилась к тому, что она называла «процессией нищих». Каждую среду днем цепочка просителей с неизменным постоянством выстраивалась у двери на кухню, чтобы получить согласно своему статусу дополнительное вознаграждение. Наблюдая из открытого окна кухни вместе с миссис Вителло, приходящей служанкой, за тем, как мисс О'Риордан занимается этой очередью, я подозревал, что там подвизалось немало притворщиков и притворщиц, самой отъявленной из которых была старая косоглазая карга по имени Сара Муни, с воплями и стонами ковылявшая, подволакивая одну ногу, на костыле и всегда считав-

³⁹ Выше автор пишет, что у Саймона голубые глаза.

шая, что ей недодали «еды» или чая с упаковкой сахара. В моих подозрениях меня полностью поддерживала мисс О'Риордан, и я снова и снова слышал, как она выражала моему дяде протест против того, что Сара опустошает кладовую закупленных продуктов.

Однако дядя Саймон, несмотря на молодость, вполне ладил со своей трудной экономкой, которая, благодаря долгому сроку пребывания в должности, стала считать себя краеугольным камнем прихода. Он позволял ей развивать деятельность во многих направлениях, терпел ее недостатки, не вмешивался в управление домом и прежде всего безропотно сносил ее отвратительную кухню. По поводу поваренного мастерства мисс О'Риордан могу только сказать, что никогда, ни до, ни после, я не знал никого, кто наносил бы больший вред простой котлете из баранины или безобидному куску говядины. Но, в отличие от меня, дядя, по-видимому, мало обращал внимания на еду – его единственной слабостью была большая чашка черного кофе после обеда в час дня, под которую он выкуривал тонкую сигару с мундштуком, достав ее из коробки, присланной ему испанским коллегой.

Благодаря попустительству в вопросах, которым он придавал мало значения, он не только снискал уважение мисс О'Риордан, но и смог утвердиться в своих правах без вмешательства во все, что касалось его церковной канцелярии. Спокойно и твердо он вставал на мою защиту, и хотя не мог одолеть всех ее ухищрений – особенно тех, которые были направлены на мой кишечник, поскольку она неумолимо очищала меня, не говоря уже о том, что я обязан был носить большой камфорный крест, который по гигиеническим соображениям она вешала мне на шею и который, пропитывая мою кожу, превращал меня в ходячий нафталин, – дядя тем не менее отрицал ее преждевременные религиозные планы на меня, эти слишком амбициозные шаги к святости, которые заставили бы меня совершить первое исповедание, встать в ряды ордена Коричневого скапулярия⁴⁰ и выучить наизусть ответы на латыни, чтобы самому проводить дядину мессу в период моего короткого пребывания у него. Если бы ей было позволено, то, убежден, эта преданнейшая женщина хотела бы, чтобы я был рукоположен, совершил постриг, возможно, даже канонизирован, еще до того, как она выпустит меня из своих рук. Но только не дядя Саймон. Здравомыслящий и чуткий, он понимал, какой психологический шок я испытал, и видел во мне нервного, весьма напряженного и физически неразвитого ребенка, часто мучимого ночными кошмарами, от которых я пробуждался в холодном поту и которые, поскольку они всегда представляли собой гротескные вариации кровохарканья моего отца, я называл «красными снами». Как я был благодарен ему за то, что он каким-то образом ухитрялся посвящать мне свое время! По вечерам мы играли в шашки – игру, которую я уже знал. Он научил меня основам игры в шахматы и сражался со мной, отдав свою королеву. Наши беседы всегда были увлекательными, так как он никогда не смеялся над моей наивностью, и я помню, что однажды мы обсуждали памятные чудачества разных святых, тогда как в другой раз у нас был весьма вдохновенный разговор на тему ада. По понедельникам, когда он был меньше всего занят, он брал лодку и отвозил меня в часть залива, известную как Береговой Хвост. Но самым большим развлечением оказалось то, на которое он намекал, когда мы еще только встретились.

Однажды утром после завтрака, быстро управившись со своей канцелярией, он повел меня на чердак, и там среди разного хлама стояла модель локомотива, покрытая слоем пыли, но настоящая рабочая модель, такая большая, полная таких великолепных возможностей, что при виде ее я даже прыгнул.

– Не имею ни малейшего представления о том, как это здесь оказалось, – размышлял дядя. – Возможно, остатки от какой-то суматошной распродажи. Не думаю, что он в рабочем состоянии. Но мы можем попробовать.

⁴⁰ *Коричневый скапулярий* (Brown Scapular) – коричневая поясная рабочая туника монахов ордена кармелитов, почитающих святого Симеона; называется также «покровом Богородицы».

Мы вытащили модель в сад и поставили на бетонную дорожку у задней двери. Я сбежал на кухню к мисс О'Риордан за тряпками. Вычищенный, со сверкающими ведущими колесами, двойными цилиндрами и поршнями и блестящим зеленым тендером, это был локомотив, от которого вздрагивало сердце.

– Посмотрите! – воскликнул я, указывая на бронзовые буквы на его корпусе: «Летучий шотландец»⁴¹.

Это была точная модель знаменитого локомотива. Каким наслаждением было заполнить котел водой, зарядить из бутылки маленькую топку метилированным горючим, предусмотрительно заготовленным дядей, зажечь с помощью спичек, полученных от мисс О'Риордан, несмотря на ее протесты, хорошо подстриженный фитиль, а затем отступить на шаг, затаив дыхание в ожидании немедленного действия. Увы, когда все это было проделано, «Летучий шотландец» отказался лететь. Вода кипела, из трубы многообещающе струился дымок, даже крошечный свисток испускал пронзительно-впечатляющую ноту, но при всем внутреннем возбуждении, как моем, так и этой прекрасной машины, она оставалась инертной и недвижимой.

– Ой, дядя, мы должны заставить ее двигаться! – В своем порыве я едва ли заметил, что использовал классическую фразу мисс О'Риордан.

Дядя, казалось, разделял мое желание. Он снял пальто и опустился рядом со мной на колени на голый бетон. Достав масленку из набора инструментов для дядиного велосипеда, мы смазали двигатель. Мы подробно рассмотрели все его рабочие части. Мы открутили гайки и подтянули их. Тщетно. Теперь, когда, лежа навзничь, с грязными пятнами смазки на лице, дядя изо всех сил дул на спиртовое пламя, дабы усилить жар в топке, внезапно появилась мисс О'Риордан.

– Ваше преподобие! – В ужасе округлив глаза, она всплеснула руками. – Без верхней одежды! И в таком виде! А мистер и миссис Лафферти уже добрых полчаса ждут вас в церкви с бедным некрещеным невинным младенцем.

Дядя встал с извиняющейся улыбкой, будто напроказивший школьник. Но, поспешив вслед мисс О'Риордан, он ободряюще глянул на меня:

– Мы не сдаемся, Лоуренс. Мы попробуем еще раз.

И мы еще раз попробовали. Мы пробовали неоднократно, и всегда безуспешно. Этот упрямый двигатель стал нашим всепоглощающим хобби. Полные решимости победить, мы обсуждали его ежедневно, пользуясь нетехническими терминами.

В среду следующей недели, когда мы только что поужинали, дяде принесли его кофе, и он достал и закурил тонкую сигару. Он всегда курил ее, мечтательно полуприкрыв веки, словно возвращаясь в свой любимый Вальядолид. Как я был бы удивлен и опечален, если бы знал, что через несколько месяцев он действительно будет переведен обратно в этот город, чтобы войти в штат своего колледжа. Но в тот день я ничего об этом не знал, как, уверен, не знал и он. Размякший от кофе и сигары, он лукаво посмотрел на меня:

– «Летучий шотландец»?

– Да, дядя! – крикнул я.

Мы вынесли наш локомотив из кладовки для инструментов. В то время как мисс О'Риордан с неодобрением наблюдала за нами из кухонного окна, делая вполголоса замечания миссис Вителло, мы заправили его маслом, спиртом и водой, пока он не засвистел на всех парах. Но и только. Он не «шел».

Мы склонились над подуставшим механизмом, и когда дядя снова заговорил, я наконец услышал в его голосе нотку пессимизма:

– Возможно, он где-то засорен. Попробуй его потрянуть.

⁴¹ «Летучий шотландец» («The Flying Scotsman») – пассажирский поезд-экспресс, курсировавший между Эдинбургом и Лондоном начиная с 1862 г.

Я стал отчаянно, со всей силой и яростью трясти его, а напоследок сгоряча даже пнул. И тут раздался резкий хлопок, и котел откуда-то из своих внутренностей выстрелил каплей чего-то густого и вязкого. Некий клапан прошипел паром, колеса крутанулись, и «Летучий шотландец» пулей дунул от нас.

– Ура! – крикнул я. – Он едет! Смотрите, мисс О’Риордан, смотрите!

Локомотив помчался прямо по бетонной дорожке, набирая скорость с каждым рывком своих мощных поршней, – колеса крутятся, пар летит, из топки россыпь искр, словно это хвост кометы. Замечательное, потрясающее зрелище!

– О небеса! – вдруг воскликнул дядя.

Я посмотрел в направлении его взгляда и увидел, что из церкви вышла Сара Муни и заковыляла к нам на костыле, опустив голову и приволакивая ногу.

– Осторожнее, Сара! – крикнул дядя Саймон.

Сара, поглощенная перспективой чая, его не слышала, и локомотив, словно ведомый вдохновением, честно и без всяких околичностей врезался прямоиком в ее костыль. Костыль взлетел в воздух по идеальной дуге и упал, громко хрустнув. Миссис Муни села на бетон, в то время как «Летучий шотландец», испускающий волны пара, опрокинулся и, хрипло пытаясь, лежал на боку в траве. Несколько мгновений Сара сидела ошеломленная, окутанная небесным облаком, затем с визгом вскочила на ноги и припустила – притом припустила почище зайца – к спасительной церкви.

– Ну, слава богу, она не пострадала, – повернулся дядя к мисс О’Риордан, которая присоединилась к нам.

– Но, дядя Саймон, – схватил я его за руку, обретя наконец голос, – разве вы не видели? Она побежала. Без костыля. В самом деле побежала. Это чудо!

Он задумчиво посмотрел на меня, но, прежде чем он ответил, вмешалась мисс О’Риордан, которая на сей раз выглядела весьма удовлетворенной:

– Если она не вернется завтра с двумя костылями, вот это будет чудо.

Дядя ничего не сказал, но теперь он улыбался. Я думаю, что ему понравился рывок Сары Муни на расстояние в двадцать ярдов.

«Летучий шотландец» больше не смог повторить свой краткосрочный успех и без каких-либо попыток ремонта был возвращен на чердак. Действительно, с того дня изменилась вся картина моего пребывания в приходе. Мне ничего не говорили, но, судя по выражению лица мисс О’Риордан и поведению моего дяди, теперь более серьезного и скрытного, новости из Ардфиллана явно стали намного хуже. Саймон чаще пересекал залив, возвращаясь с грустным лицом, которое при моем появлении он далеко не всегда успевал осветить улыбкой. На кухне, где меня встречали с чрезмерной и слишком явной нежностью, я тоже нарывался на приглушенные разговоры между мисс О’Риордан и миссис Вителло, пока не услышал два зловещих, часто повторяющихся слова «галопирующая чахотка»⁴², которые сразу и зримо создали в моем воображении образ моего отца, бледного, как в ту незабываемую ночь, безумно скачущего себе на погибель на большой белой лошади.

Я никогда не понимал и не пытался объяснить себе, почему лошадь должна быть белой, но я знал тогда, знал абсолютно точно и с какой-то странной апатией, что мой отец скоро умрет. Разве я не почувствовал бессознательно в ту кровавую ночь, что он не поправится? Я бродил по дому, ощущая свою неприкаянность, порывался подслушать шепот по поводу «еще одного кровохарканья», обиженный на суровость и озабоченность взрослых, лишенный тепла, которое прежде окутывало меня.

Однажды вечером, спустя десять дней, видимо взяв измором дядю, я уговорил его поиграть со мной в шашки. Мы сидели за доской, и он позволил мне провести пешку в дамки,

⁴² Имеется в виду скоротечная чахотка, по-английски – galloping consumption.

когда раздался звонок в дверь, звук которого мне не нравился, поскольку обычно он предвещал вызов к больному. Но когда мисс О'Риордан вошла, у нее в руке была телеграмма – дядя прочитал ее, побледнел и сказал:

– Я должен пойти в церковь, Лори.

Мисс О'Риордан вышла из комнаты вместе с ним, оставив меня одного. Ни слова для меня. Но я точно знал, что произошло. Я не плакал. Вместо этого какая-то вялость, что-то вроде мрачной тяжести навалилось на меня. Я посмотрел на доску, сожалея о прерванной игре, где с моей дамкой у меня была выигрышная позиция. Я пересчитал кучки пенсов на каминной полке, по двенадцать в каждой кучке, снова поизучал моего друга-старика на столпе, затем пошел на кухню.

Мисс О'Риордан плакала, с какими-то страстными восклицаниями перебирая свои четки.

– У меня разболелась голова, дорогой, – объяснила она, пряча четки под фартуком.

Мне хотелось ей сказать: «Зачем лгать, мисс О'Риордан?»

Но я никак не выказал своей печали до следующего утра, когда мисс О'Риордан, получившая полномочия на этот случай, подвела меня к окну гостиной, обняла за плечи и, пока мы вдвоем смотрели вдаль, на гавань, где разгружался пароход «Клэн Лайн», тихим голосом, тщательно подбирая правильные слова, мягко огласила новость. Затем, чувствуя, что я обязан это сделать, я послушно расплакался. Но слезы быстро кончились, так быстро, что мисс О'Риордан в течение дня несколько раз самодовольно отмечала сей факт как свою личную заслугу: «Он правильно это воспринял!»

Во второй половине дня, одевшись для выхода «в город», она отвела меня в Порт-Креган, где купила мне готовый черный костюм, выбранный, как она выразилась, «на вырост», который был мне безобразно велик. Пиджак висел мешком, широкие брюки, в отличие от моих собственных опрятных шорт, складывались в гармошку ниже голеней, как если бы это были длинные брюки человека, которому пониже колен ампутировали ноги. Преисполненная решимости сделать из меня ходячий образчик горя, добрая мисс О'Риордан дополнила мой наряд черной шляпой-котелком, что убило меня, черным галстуком, траурной повязкой на рукав и черными перчатками.

На следующее утро, в этой отвратительной паноплии⁴³ смерти, в котором у меня был вид миниатюрного наемного статиста похоронной процессии, я попрощался с мисс О'Риордан, обнявшей меня, назвавшей меня «ее бедным агнцем», омывшей меня своими непонятными слезами. Но возможно, она лучше, чем я, предвидела то, что ждало меня впереди. Затем в сопровождении дяди я отправился в кебе к пароходу на Ардфиллан.

Мы сидели на палубе, где тот же немецкий квартет наигрывал те же самые живые мелодии венских вальсов. Мое сердце откликалось на музыку, под которую поодаль резвились дети. Меня подмывало вскочить и присоединиться к ним, но, помня о своем мрачном облачении, которое привлекало ко мне сочувственное внимание, я не осмеливался.

⁴³ *Паноплия* (греч. *πανοπλία*) – полное вооружение греческого гоплита, состоявшее из поножей, лат, с внутренним и наружным поясом, меча, висевшего на левом боку, круглого щита, шлема и копья.

Глава двенадцатая

Похороны проходили в узком семейном кругу в Лохбридже, где на местном кладбище скромные, но более чем достойные родители моего отца имели почетное фамильное место. Именно в этом промышленном городе Лоуренс и Мэри Кэрролл, вынужденные бросить свое небольшое ирландское хозяйство во время великого картофельного голода, решили провести остаток дней в благочестивой безвестности, здесь мой отец снимал холостяцкое жилье до своего брака, и здесь же было заведение дяди Бернарда под названием «Погреб Ломонда», оказавшееся, к моему удивлению и огорчению, захудалым и затрапезным пабом, над которым жили мой дядя и его жена вместе с моими двоюродными братом и сестрой Теренсом и Норой.

День выдался серый, с морозящим дождем, когда траурная процессия вышла из церкви. Но меня там не было. К моему огромному облегчению, мама решила, что я не должен присутствовать на похоронах. Накануне, несмотря на мои безумные протесты, дядя Бернард заставил меня совершить то, что он назвал «последним прощанием» с моим лежащим в гробу отцом. Это была моя первая встреча со смертью, и я оцепенел при виде отца, такого молодого, такого красивого, который возлежал прекрасной восковой моделью самого себя на роскошном, затканном дорогой тисненой тканью мягком ложе, заказанном, вопреки желанию моей мамы, непомерно расчувствовавшимся дядей Бернардом. Безупречно приготовленный для могилы, причесанный, с подровненными усами, отец был выставлен в самом лучшем виде, что называется, «волосок к волоску», как с иронией в таком случае отметил бы он сам. Затем, когда проливавший слезы дядя Бернард поднял безжизненную руку отца и положил ее в мою, мурашки побежали у меня по телу, притом что в тот миг я увидел на мертвом подбородке отца, только накануне выбритом гробовщиком, слабую рыжеватую поросль. Я с воплем вырвался и так отчаянно бросился вон из комнаты, что рассек голову о косяк двери. В итоге, с перевязанным лбом, я был освобожден от дальнейших ужасов у могилы и ждал, когда все это закончится, на заднем дворе «Погребов Ломонда» в компании моей кузины Норы.

Этот двор, простиравшийся между линией железной дороги и задней стороной дома из красного кирпича и огороженный полуразвалившимся деревянным забором, был странным, невероятным местом, безлюдной территорией, заваленной лесоматериалами, деревянными коробками, горами бутылок, пустых или разбитых, и их пропитанной дождем соломенной упаковкой. Дверь в подвал была завалена кучей кокса, в одном углу двора находился обветшавший птичник, перед которым куры скребли землю, клевали и кудахтали, в другом углу был целый ряд собачьих будок, казалось связанных между собой клубком ржавой проволоки. И все это, пребывающее в состоянии дикого запустения по сравнению с безупречным порядком вокруг моего собственного дома, вообще по сравнению со всем, что я когда-либо знал или видел, обладало на самом деле какой-то пугающей притягательностью.

Должно быть, когда я огляделся, что-то из этих впечатлений отразилось на моем лице, потому что Нора одарила меня лукавой вопросительной улыбкой:

– Не очень-то опрятно, дружок, правда же?

– Не очень, – тактично согласился я.

– Тут именно так. У нас всегда свалка. – И она небрежно добавила: – Вся собственность конфискована.

– Конфискована? – Это слово прозвучало зловеще.

– Приказано все снести. Городским советом. Если раньше все само не развалится.

В этот момент мимо прогрохотал каледонский поезд, возможно, тот самый, на котором мой бедный отец ездил в юности, и, откликаясь на грохот его проезда, как бы в подтверждение слов Норы, загремел весь двор – с вершины кучи покатались коробки, куры бросились в укрытие, а сам дом, задрожав и завибрировав всеми своими старыми членами, выронил небольшой

кусочек известкового раствора, который упал прямо к моим ногам. Я с опаской посмотрел на Нору:

– Но что ты будешь делать, Нора? Когда его снесут.

– Полагаю, мы просто обанкротимся, как раньше.

Она пошутила? Нет, по-видимому, она сказала это серьезно, однако не придавала своим словам ни малейшего значения и с абсолютной беззаботностью снова улыбнулась мне. Мне понравилась ее улыбка, полная такой беспечной легкости, которой я сам был лишен. И правда, хотя я был знаком со своей кузиной всего несколько часов, я был готов полюбить ее всю целиком, особенно ее тонкое, нежное, живое лицо, которое, несмотря на тяжелую утрату в семье, светилось радостью. Ее кожа была кремового цвета, глаза – темно-синими, с длинными изогнутыми ресницами, а волосы, которыми она то и дело встряхивала, – глянцево-черными. Почти на три года старше меня, она была маленькой, примерно моего роста, и очень худой, с тонкими руками и ногами. По случаю на ней было новое элегантное, обшитое тесьмой, черное плиссированное платье с вуалью, которое выглядело весьма дорого, несмотря на ее слова о финансовой несостоятельности семьи.

– Это Джокер – собака Терри.

Словно желая взбодрить наш увядающий разговор, она снова приняла вид экскурсовода и указала на длинную, тощую мышинного цвета собаку, с меланхоличными глазами и тонким изогнутым крысиным хвостом, которая молча и в замедленном режиме материализовалась из глубины конуры, – собак такой породы я никогда прежде не видел, притом что этот пес не имел абсолютно никакого сходства с аристократическими представителями семейства псовых, которых я наблюдал, осторожно минуя привилегированные улицы Ардфиллана.

– Это дворняга? – спросил я.

– Боже, ни в коем случае. Разве ты не узнаешь уиппета?⁴⁴ Джокер – ценное животное, он стоил кучу денег. И принес Терри кучу денег. Ты никогда не победишь Терри на гонках – собачьих, лошадиных или людских.

Мое выражение полного непонимания, должно быть, вызвало у нее желание поддержать меня. Но хотя она покачала головой, ей не хотелось уступать мне. Она выбрала ход попроще.

– Что ж, – заметила она, нарушая тишину, – они скоро вернутся. Но без дяди Саймона. Он не может отказаться от встречи с Еписом.

Чтобы поддержать разговор, я кивнул в знак согласия, хотя не имел ни малейшего представления о том, что она имела в виду и кто такой Епис. Перед тем как отправиться на кладбище, дядя Саймон беседовал с матерью, но я понятия не имел о содержании их разговора.

– Естественно, старый Епис против этого, – продолжала она, – но ему придется сдаться. Ты же понимаешь, что это большая честь для Саймона.

– О да, – солгал я. Этот маленький негодник внутри меня, казалось, был готов поддержать что угодно. И только страшное любопытство заставило меня спросить: – Кто такой Епис, Нора?

Она уставилась на меня:

– Это епископ, дружок, старый Мик Маколей в Уинтоне. Разве ты не знаешь, что Саймона хотят вернуть в Испанию для преподавания в колледже?

Я в шоке посмотрел на нее. Значит, дядя Саймон оставит нас как раз тогда, когда я только полюбил его. Мама тоже рассчитывала на него.

– Зато дядя Лео вернется, – сказал я после паузы, не желая потерять в качестве опоры этого другого дядю, которого я никогда не видел до сегодняшнего дня.

– О да, – сказала она безразлично. – Лео вернется, ему придется ждать своего поезда. Он странный.

⁴⁴ *Whippet* (англ. whippet) – небольшая гладкошерстная порода собак. Развивает скорость до 50–60 км/ч, по прямой – 70 км/ч. Выведена для охоты на зайцев.

– Странный?

– И очень... Ты сам увидишь. Терри называет его хладнокровным ублюдком.

Это неприличное слово, произнесенное с той же небрежной самоуверенностью, с какой она отзывалась о епископе, потрясло меня до глубины души. Но я гнул свое:

– Чем он занимается, Нора?

– У него склад в Уинтоне. Продает ткани оптом. Но дядя Конор смеялся и говорил, что никто никогда не знал, к чему Лео пригоден.

Поскольку я уже второй день был в крайне возбужденном состоянии, это неожиданное упоминание моего отца, живого и смеющегося, вызвало у меня внезапные слезы. Нора возмущенно нахмурилась:

– Боже, опять, не надо... а я только начинаю к тебе привыкать. А ну, пошли, я покажу тебе наших кур.

Схватив за руку, она потащила меня в курятник, всеми силами пытаясь меня встряхнуть.

– Смотри, вон они. Ко-ко-ко... У нас была дюжина, но две сдохли. Эта сидит на яйцах, ее надо согнать с гнезда. А ну, вали, старая перербица. А вот яйцо, тоже коричневое, мы возьмем его, и я сварю его тебе к чаю.

Она с видом заговорщицы подняла гладкое коричневое, слегка тронутое пятнышками яйцо. Но это мне не помогло. Резкий переход от дневного света в таинственный полумрак, дух соломы и прочие более острые запахи лишь усугубили мой горестный настрой.

– А ну, прекращай это, парень, ради бога.

Держа яйцо, она подтолкнула меня к стене курятника и, крепко обхватив одной рукой за шею, а другой упершись в стенку надо мной, принялась бодать меня головой. Метелка ее волос на моей щеке, тепло ее близости, решительный капкан ее рук – все это почему-то действовало утешающе. Когда наконец, слегка запыхавшись, она остановилась, я испытал сожаление, что целительный лечебный сеанс был недолог. Я начал робко улыбаться и вдруг почувствовал липкую консистенцию на макушке, которая тут же прокатилась по моей шее.

– О боже, яйцо треснуло! – воскликнула она. – Давай, где твой сопливчик. Вот так, ничего, ничего, это отличный шампунь для волос, лучше не бывает.

Мог ли я не уступить ей, заботливо вытирающей носовым платком мне голову и лицо?

– Во всяком случае, вся вода из тебя вышла, – заявила она, критически осматривая меня. – Но тебе все равно надо чего-то глотнуть для начала.

Я покорно позволил ей провести меня через двор к задней двери, а затем по узкому проходу в паб. Пока я с удивлением неопита глазел на ручки из слоновой кости для разлива пива, ряды бутылок на полках, опилки, густо усыпавшие пол и окружившие наподобие островов латунные плевательницы, она заметила:

– В знак траура мы закрыты до вечера.

Она спокойно подошла к небольшому фарфоровому бочонку на стойке, украшенному словами РУБИ-ПОРТ⁴⁵. Повернув маленький никелевый кран, умело наполнила два бокала вином.

– Вот, – сказала она. – Опрокинь. Только никому ни слова. Это тебя поддержит.

Я был теперь глиной в ее руках. Пока она потягивала из своего бокала, я «опрокинул» мой. Затем я последовал за ней по черной лестнице в гостиную, большую комнату, полную хорошей, но обшарпанной мебели и, на свой лад, почти такую же неопрятную, как двор. Над камином, перед которым сохли на веревке несколько полотенец, висела крупная цветная фотография папы Льва XIII, с несколькими пожелтевшими листьями пальмы, воткнутыми сверху, и с розовым уведомлением об июньских скачках в городе Эре внизу. В дальнем конце комнаты стояла педальная фисгармония со сломанными клавишами, а в ближнем к ней углу валялись

⁴⁵ Красный портвейн.

какие-то странные ботинки, вскрытый пакет с собачьими крекерами, несколько потрепанных молитвенников и пара старых полосатых корсетов. Казалось невероятным, что дядя Бернард так отличался от моего отца, который ненавидел беспорядок и в отношении самого себя, и во всем, что касалось гигиены, и был почти чрезмерно требователен.

Когда я вошел, чувствуя себя все тонко воспринимающим и испытывая необыкновенную легкость в ногах, мама помогала жене Бернарда, которую я теперь знал как тетюшку Терезу, поставить длинный стол красного дерева для чая. Мамина активность, ее оживленный вид поразили меня. Правда, она стала гораздо тоньше, но, вернувшись из Порт-Крегана, я ожидал, что она будет в прострации и безутешном горе. Я так и не осознал тогда – какова бы ни была ее реакция на то, что ждет ее в будущем, на данный момент у нее не было печали. Измученная месяцами ухода за отцом, зная, что он должен умереть, она могла испытывать лишь облегчение, когда его страдания закончились.

– Как хорошо от тебя пахнет, дорогой – сказала она, целуя меня. С момента моего возвращения из Порт-Крегана она уже много раз целовала меня. – Ты ел леденцы?

– Нет, мама, – не стал признаваться я.

В этот момент вошла тетя Тереза с блюдом, на котором лежал огромный кусок красной вареной ветчины.

– Мне послышалось, что подъехал кеб, – сказала она, улыбаясь и кивая мне. – Если так, мы можем приготовить блюда.

Мать Норы была кроткой, нерешительной маленькой женщиной, как бы пребывающей в оболочке рассеянного удивления. Ее грудь, зримо выпирающая под дорогой черной атласной блузкой, натолкнула меня на странную мысль – не под действием ли портвейна тетя Тереза для удобства сняла корсет или, может, забыла надеть его. Ее лицо, бледное от природы, слегка порозовевшее теперь около печи, выражало мечтательную отстраненность, как если бы годы этих проклятых погребов и царящего здесь беспорядка в конце концов вознесли ее в параллельное измерение, где она мирно плыла по течению, одинокая и свободная.

– А вот и они, – подтвердила Нора. – На лестнице.

Как только она это сказала, дверь открылась и вошли мои дяди. Сначала Бернард, тяжелый, круглоплечий, дряблый, наполовину лысый, с полным обвислым лицом и мешками под глазами, которые, хотя ему было не больше сорока пяти, делали его намного старше. Поскольку я уже был свидетелем его крайней эмоциональности, которую он, казалось, не мог сдержать, то не удивился, увидев, что он еще продолжает сжимать носовой платок с черной каемкой, когда он подошел к моей маме и в знак утешения положил ей руку на плечо.

– Моя бедная девочка, рука Господа возлегла на нас. Но ты должна держаться, теперь все кончено, он упокоился в земле, рядом с нашими дорогими родными, и мы можем лишь склонить голову перед волей Всемогущего. Да исполнится воля Божья. Но, скажу тебе, это прямо-таки разбило мое сердце, когда они опустили Конора в могилу. Бедный мой брат, такой молодой и уважаемый, в самом расцвете сил и с таким будущим... Оставить тебя и мальчика, всех нас... что может быть горше этого. Но, Господь в помощь, я сделаю все для тебя, для вас двоих. Я поклялся там, на могиле, и, пока ты здесь, еще раз клянусь. А теперь, дорогая, ты должна собраться с силами, так что садись за стол, и мы перекусим. А после чая мы все обсудим и посмотрим, чем можно тебе помочь.

Торжественное заявление Бернарда, сделанное почти на одном дыхании и с пафосом, которое моя мама выслушала, глядя в сторону, глубоко тронуло меня. Я выжидающе посмотрел на дядю Лео, но, к моему удивлению и разочарованию, он промолчал. Этот дядя, на несколько лет моложе Бернарда, был высоким и очень тонким, с длинным бледным, чисто выбритым лицом, лишенным каких бы то ни было эмоций; его лоб облепляли гладкие черные волосы. В отличие от прочих, в его одежде ничто не говорило о трауре, на нем был простой темно-синий костюм, настолько тесный и лоснящийся от долгой носки, что казалось, дядя врос в

него. Когда Бернард держал речь, ничто не изменилось в лице Лео, за исключением легкого, однако достаточно характерного подергивания уголков рта, каковое, если бы дядя не казался таким сдержанным, зажатым и отстраненным, можно было бы принять за след саркастической улыбки.

В этот момент в комнате с шумом появился мой двоюродный брат Теренс, который выглядел еще умнее, еще красивее, по сути, настоящий мужчина, и, когда Бернард произнес молитву перед едой, мы все сели.

Обильная трапеза явилась для меня еще одним свидетельством дядиной щедрости, тем более впечатляющей в свете его собственных финансовых трудностей. Пока тетя Тереза курсировала туда-сюда, рассеянно принося из кухни все новые горячие блюда, колбасы, белые пудинги, вареную птицу – никогда еще я не видел такого количества еды, – Бернард не переставал настаивать, чтобы мы всего отведали, сам же, учитывая его горе, подкреплялся с замечательной стойкостью. У мамы не было особого аппетита, как и у меня. Красный портвейн взял свое, и мне казалось, что голова моя набита ватой, – это было необычное, но вполне приятное летучее чувство, заставившее меня забыть о моих страданиях. Однако самым любопытным были застольные манеры и гастрономические предпочтения дяди Лео, который в начале поминок решительно перевернул свою тарелку, чтобы исключить возможность размещения на ней поминальной пищи, и избегал как чумы дымящихся блюд тети Терезы, удовольствовавшись лишь стаканом молока, простой пшеничной лепешкой, которую он пережевывал с особой тщательностью, и четырьмя таблетками, вытряхнутыми из маленького пузырька, который он извлек из кармана жилета.

– А теперь, моя дорогая Грейс, – Бернард посмотрел на маму с восхищением и сочувствием, – если ты не против, не поговорить ли нам в маленьком семейном кругу о вашем будущем? Насколько я понимаю, наш бедный Кон оставил вам не слишком много наличности – если можно так это сформулировать, чтобы никого не обидеть.

– Почти все, что у нас было, вложено в бизнес Конора, – спокойно ответила мама. – И с очень хорошим результатом. Он вернул до последнего пенса все, что должен был, как Хагеманну, так и банку. Он был сам себе хозяин.

У дяди Лео, который до сих пор не произнес ни слова, была странная манера смотреть не на человека, а как бы мимо него. Теперь его взгляд витал над головой мамы, когда он мрачно спросил:

– Он был застрахован?

– Нет. Думаю, он попытался в конце концов, но ему отказали в полисе.

– Сколько конкретно в банке? – продолжал Лео, все еще глядя в потолок.

– Примерно двести фунтов. – Сказав это, мама покраснела. – И конечно, есть счет доктору и расходы на похороны.

Бернард воздел свою дарующую и утешающую длань:

– Больше ни слова об этом, дорогая. Как я уже сказал, я беру на себя похороны до последнего пенса. И мы также оплатим счет доктора.

– Пусть даже так, с парой сотен далеко не уедешь, – угрюмо сказал Лео. – По-моему, первое, что вам нужно сделать, – это продать часть мебели и съехать с этой большой дорогой квартиры.

– Я уже договорилась об этом.

Мне захотелось поддержать маму за этот ее спокойный, взвешенный ответ, и в своем приподнятом состоянии я бы, наверное, так и сделал, если бы не тут же последовавшая реплика Лео:

– Затем вы должны попытаться продать свое дело.

Мать покачала головой:

– Нет.

– Почему нет? Оно должно чего-то стоить... если мы найдем покупателя. Даже если в «Ю. Ди. Эл.» остыли к этой затее, они могут что-то предложить.

– Мне не нужен покупатель.

Я нашел под столом мамину руку. Она была холодной и чуть дрожала. Но мама ответила с твердостью в голосе:

– Конор сделал свой бизнес. Это была его идея, и притом замечательная. Помимо того что я чту его память, я не собираюсь бросать его дело. По сути, оно держится на одном человеке. Я уверена, что смогу справиться. И я постараюсь. Я хочу продолжить его дело.

Наступила тишина, затем Бернард в восхищении ударил кулаком по столу:

– И у тебя тоже получится! На твоей стороне будет сочувствие. Уже только поэтому у тебя будут заказы, не говоря о твоём красивом лице. Боже, ты смелая маленькая женщина. Но как насчет мальчика? Ты будешь целыми днями пропадать в Уинтоне. Может, поэтому лучше послать его в Роклифф, как Терри?

– Возможно, только позже, – сказала мама. – Сейчас я не могу расстаться с ним. Я договорилась с соседкой, с леди, которая живет внизу, что буду снимать три комнаты в ее апартаментах. Она присмотрит за Лоуренсом, когда он не в школе.

Значит, мы переезжаем к мисс Гревилль! После предыдущих заявлений мамы, явившихся для меня полной неожиданностью, данная новость действительно захватила меня, заставив в равной мере испытать и опасение, и волнение. В то время как Бернард продолжал нахваливать маму, делая самые оптимистичные прогнозы насчет ее деловых успехов, я попытался предугадать, какие возможности открываются передо мной в связи с нашим новым жильем, и хотя мне это не удалось, каким-то образом я почувствовал, что они будут весьма основательными. Дискуссия между мамой и моими дядями продолжалась, но внятная стадия моего восприятия миновала, хотя время от времени я смутно улавливал нотки пессимизма в голосе дяди Лео, продолжавшего возражать.

– Ну ладно, – наконец заявил он. – Раз вы так решили, тут уже ничего не поделаешь.

Все замолчали, и дядя Бернард подал особый знак Теренсу, который кивнул и поднялся на ноги.

– Он откроет там, внизу, – вздохнул Бернард. – Жизнь должна продолжаться.

– Сначала я покормлю собаку, – сказал Терри. – Возьми его ужин, Нора. Пойдешь с нами? – добавил он, вскользь глянув на меня.

Мы спустились во двор по внешней лестнице, которую я раньше не заметил. «Тихо, зверь!» – отмахивался Теренс от отчаянных прыжков и стенаний Джокера, стряхивая пыль с подходящего ящика и усаживаясь с видом судьи.

– Ну, Шустрик, вот мы опять и встретились.

– Да, Теренс.

– И не в лучших обстоятельствах.

Он сделал паузу, осмотрев меня с ног до головы.

– Интересно, кто тебя вырядил в этот хлам?

– Мисс О’Риордан.

– Так я и думал. – Он с пренебрежением медленно покачал головой. – Знаешь, Шустрик, если не будешь остерегаться женщин, ты погибнешь. Научись твердо стоять на ногах и не позволяй помыкать тобой, иначе будешь у них под каблуком всю оставшуюся жизнь.

Поучение Теренса было не очень-то понятным, но, поскольку в нем выражался некоторый интерес к моему благополучию, я в своем нынешнем состоянии полусироты воспринял его положительно. Казалось, Теренс действительно хотел мне дать на будущее мудрый совет; но тут появилась Нора с тарелкой, на которой лежал большой толстый кусок парного мяса.

– Ты бы поторопился, Терри. Там на улице уже целая толпа, языки вывалили.

– Ничего, подождут – пусть глотки побольше пересохнут. Я хочу показать Шустрику Джокера. – Удерживая пса, еще быстрее замахавшего похожим на кнут хвостом, он взял у Норы тарелку, опустил ее на землю и торжественно объявил: – Пятница.

Джокер, уже бросившийся к стейку, остановился, как будто получил смертельный удар электрическим током. Изогнувшись над тарелкой высокой параболой, роняя слюну, он одним глазом умоляюще уставился на Теренса.

– Видел? – заметил Теренс, неторопливо, словно чтобы усугубить муку Джокера, закури-
вая сигарету. – Это настоящая католическая собака. Он не прикоснется к мясу в постные дни.

– Но сегодня, Терри, не пятница, – возразил я.

– Для Джокера, – сказал Теренс, – моего слова достаточно. Да, парень, для этой собаки я такой же непогрешимый, как папа. Через минуту я скажу ему, что сегодня суббота.

Я был глубоко впечатлен, пока одна мысль не пришла мне в голову.

– Но как же во время Великого поста, Терри? Ведь там каждый день – это день воздержания.

– В Великий пост... – казалось, задумался Теренс. – В Великий пост мы освобождаем его от обетов. Да, парень, это очень святая собака. Тем более странно, если знать, что я купил ее у еврейского джентльмена по имени К. К. Финк. Да, пришлось немного повозиться, чтобы избавить пса от кошерных привычек, но в конце концов, слава богу, мы его обратили. И как он окупился, парень! Теперь он просто полон благочестия. Тебе стоит посмотреть, как он притворяется хромым, когда я догоняю его во время гонки.

Трудно себе представить, куда бы завел нас этот замечательный диалог. Разумеется, при этом Нора несколько раз подавила приступы смеха. Но разговор был прерван сильным ударом по наружной двери паба и криком:

– Эй, там, открывайте, ради бога! Мы тут все подышаем от жажды!

Тут Теренс встал и отпустил Джокера с поистине апостольским жестом и интонацией.

– Вот тебе доказательства, Шустрик, – заметил он, уходя. – Джокер никогда меня не подводит.

Стейк исчез за три стремительных собачьих хапка.

После этого замечательного номера последовало невольное молчание. Оно было нарушено моей мамой, позвавшей меня с верхней лестничной площадки. По-видимому, нас уговаривали переночевать у дяди Бернарда, но, к моему разочарованию – а меня страшно тянуло продолжить знакомство с Норой в курятнике, – мама отказалась. И теперь, поскольку уже шел пятый час, она сказала, что нам пора на поезд.

Пока она надевала пальто и шляпу, Лео, который и словом со мной не перемолвился, даже, похоже, не заметил моего присутствия, медленно подошел ко мне. Замаячив надо мной, высокий, печальный и загадочный, он вытащил из кармана лоснящихся брюк небольшую горсть серебра, среди которой после усердных поисков отыскал монету в три пенса.

– Вот, мальчик, – сказал он. – Не трать их попусту. Эти деньги заработаны тяжким трудом. И всегда помни об этом. Твой лучший друг – собственный счет в банке.

До сих пор дядя Лео, весь какой-то темный, худой, сутулящийся, не производил на меня особого впечатления и не вызывал желания общаться с ним, но теперь, увидев, что он, при всей своей бедности (о чем я уже догадывался), готов одарить меня монетой, пусто даже самой мелкой, я преисполнился жалости и сочувствия и от всего сердца поблагодарил его.

– Кажется, Бернард взял вас в свои руки, – сказал он бесстрастно, хотя его губы снова подергивались. – Он готов и дальше о вас заботиться. У меня скудный бизнес, но, если когда-нибудь ты будешь искать работу или захочешь научиться торговле, приходи ко мне. Я уже сказал твоей матери об этом.

Не попрощавшись, он повернулся и ушел. Бернард отпустил Нору и Теренса проводить нас на станцию. Как же мне было приятно, когда Нора взяла мою руку в свою и так и разма-

хивала обеими, пока мы шли. Я покраснел от удовольствия, когда Терри спросил, бегаю ли я так же быстро, как раньше. Здорово было снова оказаться на открытом воздухе со свежим ветерком, развеивающим странные и противоречивые впечатления, кучей навалившиеся на меня. Мама тоже шла бодрее, как будто ей было не очень комфортно в доме Бернарда, хотя она выказала там спокойствие и стойкость, этот день был для нее страшным испытанием.

Сидя рядом со мной в купе третьего класса, она молчала. Глядя прямо ей в лицо, я чувствовал, что ее охватила печаль. О чем она думала? Без сомнения, о моем отце и, возможно, о том, насколько он, как и Саймон, счастливо отличался от двух других братьев. Или она думала о странности своей жизни, о том, насколько ее воспитание и среда, в которой она росла, где все было правильно и достойно, контрастировали с тем, что она сегодня испытала и пережила. Этого я не знал. Главное состояло в том, что она прижала меня к себе, когда поезд прогрохотал мимо «Погребов Ломонда» и, набирая скорость, понес нас сквозь бледный безмятежный закат к темнеющей Глен-Фруин.

Глава тринадцатая

Во вторую неделю апреля мы с мамой перебрались к мисс Гревилль – это был незабываемый переезд не только потому, что мы сменили помещение, но и потому, что вся наша жизнь стала другой. Пристанище, столь любезно предоставленное нам, радовало – все было предусмотрено и вполне соответствовало нашим нуждам. В задней части первого этажа просторного мезонета у нас были две уютные комнаты, небольшие, но хорошо освещенные и веселые, поскольку окна обеих выходили на лужайку, смежная с ними комната поменьше на самом деле представляла собой глубокую нишу, которую мисс Гревилль превратила в удобную кухню, установив там газовую плиту и фарфоровую раковину. Ванная комната тоже была близко – на границе с половиной, занимаемой мисс Гревилль.

Несомненно, мисс Гревилль хорошо подумала и постаралась сделать все для нашего удобства, и, хотя я не знал, сколько мама платит за аренду, цена должна была быть не в меру скромной, свидетельствуя, как я считал, скорее об искреннем желании мисс Гревилль помочь нам, чем о какой-то жалкой корысти нажиться на нас.

Здесь, в этом миниатюрном жилом пространстве, началась наша новая жизнь. Каждое утро мама вставала в семь часов и готовила завтрак. Обычно для меня это была каша «Грейп-натс», кроме того, каждый из нас съедал вареное яйцо и горячий тост с маслом. Я выпивал стакан молока, а мама – несколько чашек очень крепкого чая. Она признавалась, что ни на что не способна, пока не выпьет утреннего чая. Казалось, он бодрил и поддерживал ее, хотя она по-прежнему выглядела грустной. У нее все еще сохранялся измученный вид, который поразил меня, когда я вернулся из Порт-Крегана.

После завтрака она мыла посуду, а я вытирал, затем, пока я одевался, она надевала новый деловой костюм из темно-серой ткани, сменив, к моему облегчению, свой злоедающий похоронный черный наряд, поскольку она мудро решила, что это наносит ущерб ее работе. В четверть девятого мы вместе выходили из дому, мама спешила на поезд до Уинтона, отправлявшийся в восемь сорок, а я неохотно шел в школу. Едва ли стоит добавлять, что я все еще посещал школу Святой Марии – на данный момент наше положение было слишком неопределенным, чтобы рассчитывать на переход в какую-то другую школу, получше.

Тем не менее если эта заветная мечта казалась отложенной на потом, то в порядке компенсации на смену моей скучной рутине явилось нечто совершенно поразительное. Поскольку моя бедная мама отсутствовала весь день, возвращаясь домой не раньше шести часов вечера и стараясь что-то перехватить в одной из городских чайных, мисс Гревилль предложила и даже настояла, чтобы в полдень я ел вместе с ней. Ланч с мисс Гревилль произвел на меня тогда большое впечатление и, по крайней мере вначале, стал моим проклятием.

В первый же день, когда я вернулся домой полдвенадцатого, едва переводя дыхание, так как бежал весь путь из школы, опасаясь опоздать, она ждала меня в столовой, стоя прямо и заложив за пояс платья большой палец. Она посмотрела на необычные, оправленные в бронзу и фарфор часы на каминной полке:

– Молодец. Ты пунктуален. Иди вымой руки. И причешись.

Когда я вернулся, она указала мне мое место. Мы сели. Еда, подаваемая Кэмпбелл, молчаливой пожилой служанкой, которая вела себя так, будто я для нее не существовал, была восхитительной, горячей и крайне необычной. Украшения, стоявшие на столе, среди которых прежде всего обращали на себя внимание два серебряных фазана, равно как и тяжелые серебряные столовые приборы сервиза, смущали и подавляли меня. Я уронил свою жесткую салфетку и вынужден был отыскивать ее под стулом. Когда я ее достал, мисс Гревилль любезно обратилась ко мне:

– Для начала у нас будет маленький разговор, Кэрролл. Ты заметил, что я называю тебя просто Кэрроллом? Поскольку теперь ты единственный Кэрролл в этом районе, у тебя не может быть претензий, чтобы называться *молодой* Кэрролл.

Я, которого с любовью называли Лори и только в самых официальных случаях – Лоуренсом, воспринял это постоянное использование лишь моей фамилии как жестокое оскорбление своих чувств.

– Продолжим. Когда мы идем к столу, ты впредь должен отодвигать для меня стул и, только убедившись, что я удобно села, можешь сесть сам. Ты меня понял?

– Да, мисс Гревилль, – подавленно сказал я.

– Опять же, во время наших обедов, которые, я надеюсь, всегда будут тебе приятны, мы должны развивать искусство беседы. Мы будем говорить о текущих событиях, о спорте, если хочешь, о естественной истории, книгах, музыке и о людях. Первой персоной для обсуждения являешься ты, Кэрролл.

Меня бросило в жар.

– Для начала полагаю, что у тебя нет желания стать парией. Ты, конечно, знаешь, кто это такой?

– Тот, кто воспарил? – пробормотал я.

– Скорее наоборот, Кэрролл. Это существо, которое постоянно купается в жалости к себе. Хочешь быть таким?

– Нет, мисс Гревилль.

– Тогда ты должен перестать жалеть себя. Несмотря на то что я люблю твою маму, я считаю, что ты страдаешь от избытка материнской снисходительности. Поэтому я предлагаю тебе познакомиться со спартанским идеалом. Несомненно, ты знаешь о греческом городе Спарта, где слабых детей просто оставляли на смерть под жгучим солнцем? Или – что еще проще – бросали со скалы.

– О нет! – ахнул я.

– Я, – холодно сказала мисс Гревилль, – увидела тебя на такой скале. Так вот, Кэрролл, ты хочешь, чтобы тебя сбросили со скалы, или ты хочешь жить как настоящий греческий мальчик?

– А как он жил? – Я попытался сказать это пренебрежительно.

– С того дня, как в возрасте семи лет он шел в школу, он проводил значительную часть дня в палестре, занимаясь под наблюдением взрослых физическими упражнениями. Он боролся, бегал, бил по мячу, наполненному семенами смоковницы, ездил верхом без седла, учился метать камни и уклоняться от них, он постоянно участвовал в бесчисленных соревнованиях для мальчиков разных возрастов. Но хватит истории. На сегодня будет достаточно, если я предложу для твоей пользы холодную ванну каждое утро, энергичные упражнения, испытания на выносливость, которые укрепляют тело и разгоняют кровь. Неприятная правда, Кэрролл, заключается в том, что я нахожу тебя мягким, избалованным, бесхарактерным и ненормально одиноким мальчиком.

Вне себя от возмущения, я почувствовал, что на глаза мои наворачиваются слезы.

– Если ты плачешь, Кэрролл, – твердо сказала она, – я с этого момента полностью отрекаюсь от тебя.

Чтобы сдержаться, я сильно прикусил губу. Жестоко оклеветанный, я все же, как ни странно, не хотел, чтобы от меня отреклись. Кроме того, во мне закипало негодование. Слова «ненормально одинокий» застряли в моем сознании.

– Может, вы скажете мне, – осторожно начал я, чтобы не сорваться, – как помочь мальчику в моем положении? С кем он может быть не одиноким?

– Со мной. Я собираюсь заняться тобой. – Мисс Гревилль спокойно и внимательно посмотрела на меня. – Ты когда-нибудь изучал ботанику?

– Нет, – угрюмо ответил я.

– Тогда завтра, поскольку это суббота, ты начнешь ее изучать. Будь готов ровно к девяти. А сейчас съешь еще одну котлету. Только запомни, что вилка – это не лопата. Надо пользоваться ее зубцами. Это не совок. Натыкай.

Таким манером приструнив меня, мисс Гревиль теперь, казалось, ушла в себя. Со слабой необычной улыбкой на губах она, похоже, сосредоточилась на чем-то незримом, продолжая, однако, одним глазом следить за часами. Когда они пробили час дня, она встала и, взяв принесенную ей чашку кофе, подошла к окну. Я безмолвно смотрел, как она стоит за длинным кружевным занавесом, где, полусокрытая, она медленно потягивала кофе. Вдруг чашка застыла в воздухе, а улыбка стала шире. Наконец мисс Гревиль повернулась и с довольным, почти веселым выражением лица поставила свою чашку.

– Теперь можешь идти, Кэрролл, – любезно сказала она. – И не забывай. Завтра утром в девять.

Во второй половине дня в школе, вместо того чтобы слушать сестру Маргарет Мэри, которая пыталась объяснить нам правила сложения дробей, я мрачно, почти бесстрашно размышлял о тех оскорблениях в свой адрес, а вечером, когда мама вернулась из Уинтона, я сообщил ей, что не желаю участвовать в том, что задумала для меня мисс Гревиль.

– Считаю, тебе следует ее послушаться, дорогой, – примирительно сказала мама. – Я совершенно уверена, что мисс Гревиль желает тебе добра.

Таким образом, стало очевидным, что мама в сговоре с моей хулиганницей.

На следующее утро, полный ожиданий и опасений, я явился в назначенное время. Мисс Гревиль предстала передо мной в довольно необычном виде. На ней была светлая юбка из твида, намного короче того, что я считал приличным, которая открывала сильные икры, заключенные в пару крепких, выдавших виды высоких коричневых сапог. Сдвинутая набок с макушки зеленая тирольская шляпа мисс Гревиль была украшена каким-то пушистым, словно из волосков кисточки для бритья, узором, а за плечом болтался необычный черный лакированный сосуд.

– Это *vasculum*, ботанический контейнер, – объяснила она, прочитав вопрос в моих глазах. – А здесь наш обед. Можешь понести его.

Передав мне пузатый рюкзак, такой же выдавший виды, как ее сапоги, она помогла мне надеть его на спину, затем мы двинулись по хрустящей гравием дорожке вдоль квартала к Синклер-роуд, которая вела прямо вверх по склону холма; при этом мисс Гревиль опиралась на странную заостренную трость, украшенную маленькими серебряными значками. Я хотел спросить ее о них, но она так яростно атаковала склон, что я считал за лучшее следить за своим дыханием. Кроме того, меня ужасно задевали взгляды прохожих, бросаемые на нас, в которых читалось насмешливое узнавание и которые моя спутница надменно игнорировала.

Мы поднимались молча. Вскоре мы миновали последние большие виллы, которые виднелись тут и там на обширных участках среди больших сосен. Теперь цивилизованный мир остался позади. Мы вошли в сосновый лес. Пот начал заливать мне глаза, в дыхании прорезалась свистящая нота, и, когда я увидел, что даже этот отдаленный лес еще далеко не та высокая пустошь, куда мисс Гревиль собралась отвести меня, я чуть ли не сник. Но я не сдавался. Каким бы ничтожным ни был мой дух, его воспламенила эта отвратительная, однако чем-то притягивающая женщина. Я хотел показать ей, что я не тот мальчик, от которого можно отмахнуться, дабы сбросить со спартанской скалы.

С пересохшим горлом и бухающим сердцем я продолжал путь, иногда переходя на бег, не желая отставать, и, когда мы наконец вышли из леса на этот огромный широкий простор вересковой пустоши, которая простиралась на много миль, свободная и первозданная, через Глен-Фруин к берегам Лох-Ломонда, я, пусть и абсолютно измотанный, все еще был рядом со своей наставницей.

Здесь она милостиво остановилась, посмотрела на меня, затем достала из-за пояса свои часы.

– Один час и двадцать минут, – заявила она, – совсем неплохо. Мы постепенно будем сокращать время. Устал?

– Ничуть, – солгал я.

Внимательно меня оглядев, она впервые улыбнулась.

– Тогда займемся реальным делом, – сказала она с оживлением. – Тут была настоящая зима, и, если нам повезет, мы найдем интересные вещи для твоей коллекции.

Без энтузиазма я последовал за ней, опустившей голову и медленно ступившей в заросли вереска.

– Я уверена, ты знаешь самые основные цветы вересковой пустоши. Эрика, она еще не появилась, желтый утесник, ракитник и пушица – эти белые пучки, которые раздувает ветер. – Она сделала паузу. – А это видел?

– Нет, – кисло сказал я.

Опустившись на колени, она раздвинула траву и показала тонкое маленькое растение с заостренными зелеными листьями и звездочками ярких золотисто-желтых цветов.

– Болотная асфodelь. *Narthecium ossifragum*. Из семейства лилейных.

Вопреки моим желаниям и наклонностям, я был впечатлен не только ее очевидной эрудицией, но и внезапной находкой этого сокрытого, сверкающего и абсолютно неожиданного цветка.

– Мы его выкопаем?

– Ни в коем случае. Но мы возьмем одну кисть для засушки.

И она отрезала стебелек, который, к моему удивлению, поскольку я решил в этом не участвовать, я взял и спрятал в контейнер.

Несколько минут мы продвигались без происшествий, затем она снова сделала шаг в сторону:

– Здесь нечто поразительное. Круглолистная росянка – *Drosera rotundifolia*.

Когда я с любопытством посмотрел на изящную маленькую розетку, мисс Гревиль продолжала:

– Каждый лист, как ты видишь, имеет несколько рядов малиновых волосков, оканчивающихся округлыми головками, похожими на щупальца морского анемона. Действительно, они служат аналогичной цели. Они выделяют прозрачную липкую жидкость, которая захватывает мелких насекомых, ползающих по листу. Волоски реагируют на попытки насекомых освободиться, опускаются, ловят жертву – растение переваривает и усваивает ее.

– Вот это да! – воскликнул я в удивлении. – Растение-мухоедка!

– Именно. Мы его выкопаем – к росянкам я любви не испытываю, – посади ее в торфяной мох и можешь дома наблюдать, как она это делает.

– Правда, мисс Гревиль?

– Почему нет?

Она позволила мне воспользоваться садовым совком, лежавшим в контейнере, и, когда растение было благополучно перенесено туда, махнула рукой, давая понять, что показательный урок окончен.

– Теперь, когда ты вошел во вкус, Кэрролл, можешь сам искать. Позови меня, если найдешь что-нибудь интересное.

Я стартовал с такой жаждой, какой даже представить себе не мог, желая продемонстрировать свои навыки начинающего натуралиста. К моему огорчению, притом что мисс Гревиль, похоже, делала успехи, мне с непривычки ничего интересного на глаза не попадалось. Но наконец внезапно среди поблекшей травы я наткнулся на великолепный цветок, большой, как гиацинт, и темно-фиолетовый.

– Скорей, мисс Гревилль! – крикнул я. – Пожалуйста, идите скорее сюда!

Она подошла.

– Посмотрите, мисс Гревилль. Разве он не прекрасен?

Она согласилась, сделав широкий одобряющий жест.

– *Orchis maculata*⁴⁶. Лапчатые клубни, прицветники зеленые, трехглавые. Первокласный образец. Поздравляю, Кэрролл. Если только нам удастся найти его соседа, *morio*⁴⁷, мы сможем считать себя счастливыми.

Я покраснел от гордости, наблюдая, как она аккуратно отрезала от остроконечного стебля два цветка, которые вместе с другими образцами, ею собранными, разрешила мне положить в контейнер.

Затем мы оказались в травяном блюде болота, вероятно бывшем овечьем водопое, защищенном с одной стороны мраморным гребнем скалы. Мисс Гревилль подняла голову. Бледное солнце теперь было прямо над нами.

– Тебе не кажется, что здесь удобное место для обеда, Кэрролл?

Я тут же это подтвердил.

– Тогда посмотрим, что нам приготовила Кэмпбелл.

Я распаковал рюкзак, благоговейно вынимая укутанные в салфетки влажные свертки, с энтузиазмом отмечая среди них несколько сосисок в тесте домашнего приготовления. Наконец, припрятанная рядом с фляжкой кофе, была явлена на свет великолепная бутылка лимонада «Комри». Эта предусмотрительность так меня тронула, что я невольно воскликнул:

– О, мисс Гревилль, вы ужасно добры!

– Это Кэмпбелл, – спокойно ответила она.

– Но Кэмпбелл меня не любит.

– Кэмпбелл не проявляет своих чувств.

– Но, мисс Гревилль, Кэмпбелл не отвечает, когда я обращаюсь к ней.

– Кэмпбелл, естественно, не расположена к разговору. Кроме того, она глуховата.

Покончив с Кэмпбелл, мы принялись за обед. Поскольку он превзошел мои ожидания, я ел много, чему способствовало и то, что сама мисс Гревилль не проявила особого интереса к сосискам в тесте. Она сняла шляпу и, сидя с прямой спиной – глаза закрыты, на губах неясная потусторонняя улыбка, – отдалась духам болота. Последовательно уничтожая припасы, я время от времени с трепетом поглядывал на нее. В зарослях вереска пел ветер, над головой в голубом небе кружили и перекликались кроншнепы. Больше никаких других звуков, кроме слабого гула ранней пчелы.

– Можно я что-то вам скажу, мисс Гревилль? – отважился я, взяв последний сэндвич с яйцом и кресс-салатом. – Думаю, что мне очень понравится заниматься ботаникой.

Она невозмутимо наклонила голову:

– Тогда мы сейчас еще немного поработаем. Хорошо бы найти *Orchis morio*, чтобы он соответствовал твоей *maculata*.

Немного отдохнув, мы снова отправились в путь, но не дальше, в болото, а поперек, в сторону дороги. Заряженный ботанической страстью, я превзошел самого себя. Мы нашли *morio*, экземпляры болотного мирта, желтый очный цвет и зверобой обыкновенный – для всех них мисс Гревилль знала латинские названия. Она также показала мне гнездо чибиса с четырьмя яйцами и заросли черничных кустарников, на которых через несколько недель созреют для нас ягоды.

День уже угасал в глуховатой дымке, когда наконец мы добрались до дороги. Но теперь, хотя путь назад был долог, он шел под гору. У меня устали ноги, но грудь распирало от свежего

⁴⁶ Ятрышник пятнистый.

⁴⁷ Ятрышник дремлик – *Orchis morio*.

воздуха. Этот наполнявший меня, пьянящий смысл моих подвигов помог мне во время неожиданного столкновения – в противном случае оно расстроило бы меня – с мистером Лесли, викарием церкви Святого Иуды, которую посещала мисс Гревиль. Хотя я чувствовал, что все священники автоматически относят меня к любому вероисповеданию, кроме моего исконного, это был приятный человек, которому на вопрос о вере я ответил, что принадлежу к папистам, – мой ответ устроил мисс Гревиль, когда она узнала о нем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.